

Михайло Михайловъ

АБРАМ  
АТТЕРЦ

или

БЕГСТВО  
ИЗ РЕТОРТЫ

О ТВОРЧЕСТВЕ  
СИНЯВСКАГО

NOCE



М. МИХАЙЛОВ

АБРАМ ТЕРЦ  
ИЛИ  
БЕГСТВО ИЗ РЕТОРТЫ

Довольно твердить о человеке. Пора по-  
думать о Боге.

Абрам Терц

ПОСЕВ

1969

© Copyright for Russian by Possev-Verlag Frankfurt/Main

## НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОБ АВТОРЕ

Михайло Михайлов родился 26 сентября 1934 г. Его родители русские, выросшие и получившие образование в Югославии. Начальную школу окончил в городе Зренянин, гимназию — в Сараеве. Проучившись год в сараевском техникуме, М. Михайлов переходит в белградский, а затем загребский университет, где изучает литературу. Стипендии не получает, зарабатывает переводами с русского на сербскохорватский, разносит молоко, работает гидом, родители, по мере возможности, поддерживают его.

Университет М. Михайлов кончает в 1959 году и получает годичную стипендию для «постдипломной» работы («Русская проза периода 1890—1917 гг.»). Начинает работать над докторской диссертацией о творчестве и мировоззрении Достоевского.

В 1963 г., после отбытия воинской повинности, М. Михайлов получает место ассистента на кафедре русского языка и литературы в городе Задар, где расположен философский факультет загребского университета.

Летом 1964 г. М. Михайлова, на основании договора о культурном обмене, направляют в Советский Союз. Вернувшись в Югославию, он пишет свои (ставшие впоследствии всемирно известными) путевые очерки «Лето московское 1964» и передает их в редакцию белградского журнала «Дело», где они должны были быть опубликованы в трех номерах. Но после выхода второго продолжения, в февральском номере журнала за 1965 г., последовал резкий протест советского посла в Белграде, затем — выговор Тито представителям прокуратуры, запрет февральского номера «Дело» — и арест М. Михайлова.

30 апреля 1965 г. задарский суд приговорил М. Михайлова к 5 месяцам тюремного заключения условно за «клевету на иностранное, дружественное Югославии

государство». «Клеветой» были 24 строки из «Лета московского», в которых говорилось, что первый советский концлагерь был создан в 1921 году, упоминался расстрел без суда и следствия 120 000 мужчин и женщин в 1920—1921 гг. в Крыму, утверждалось, что народоубийством советская власть занималась задолго до Гитлера. Суд не принял во внимание или забыл, что Председатель Тито задолго до М. Михайлова — и в гораздо более резкой форме — говорил и о советских концлагерях и о народоубийстве в СССР «методами, которым мог бы позавидовать даже Гитлер» («Борба» от 29 июля 1951 г. и от 4 ноября 1952 г.). Разница была только лишь в том, что во время этих выступлений Тито Советский Союз дружественным государством не считался...

Если арест М. Михайлова следует связывать с желанием югославских руководителей не портить отношений с советским руководством, то сравнительно «мягкий» приговор задарского суда продиктован необходимостью не портить отношений с западной общественностью, многие из видных представителей которой решительно выступили в защиту М. Михайлова.

Это был не первый конфликт М. Михайлова с властью. В 1964 г. загребский журнал «Коло» начал печатать работу М. Михайлова «Достоевский сегодня», но после того, как были опубликованы две первые части, печатание третьей было запрещено, а редактор «Коло» снят с работы.

М. Михайлов тогда реагировал резко. Он разослал открытое письмо в редакции югославских газет и журналов, требуя открытой дискуссии по поводу этого, как он выразился, «рецидива ждановщины» и угрожал, в случае отказа от дискуссии в югославской печати, — вынести ее на страницы печати западной. Он не сделал этого, так как считал, что Югославия в процессе демократизации, несмотря на случаи, подобные упомянутому, идет впереди всех социалистических стран и надеялся, что эти случаи вскоре прекратятся. Тем более рез-

ко реагировал он на этот новый, еще более вопиющий «рецидив ждановщины». Он написал ответ на нападки редактора еженедельника «НИН» и разослал его в 290 югославских редакций; будучи уже в следственной тюрьме, обратился с открытым письмом к Тито, разъясняя ему, что «...высказывая публично утверждения, не соответствующие действительности, Вы поставили в трудное положение меня, как лояльного гражданина Югославии и себя самого, как главу государства».

Находясь в трудном положении условно осужденного, М. Михайлов, совместно с группой друзей, делает из всего происшедшего вывод: необходимо создать собственный независимый оппозиционный печатный орган. Это, теоретически, вполне осуществимо, так как согласно закону, группа в 5 человек имеет право основать любой печатный орган, кроме антисоциалистического. Последнее препятствием не являлось, так как М. Михайлов и его друзья — сторонники демократического социализма. О своих намерениях они объявляют открыто, сообщая одновременно, что не намерены заниматься никакой тайной или нарушающей действующие законы деятельностью, что их лозунг — «ничего против закона».

Это заявление отнюдь не успокаивает представителей власти — так как конституция и законы Югославии достаточно либеральны и рассчитаны во многом на пропагандное, а не на практическое использование. Представители власти, действовавшие сначала при помощи уговоров, начинают применять давление. М. Михайлова и его друзей увольняют с работы. Получить работу снова могут только те, кто отказывается от сотрудничества с М. Михайловым. Некоторые на это идут, другие продолжают начатое дело.

М. Михайлов понимает, что подготовка журнала — дело затяжное, а действовать необходимо немедленно. Тогда он избирает путь воздействия на югославскую общественность через иностранную печать, которая в

Югославии не запрещена и распространяется (хотя и в небольшом количестве). Он пишет несколько статей, посылает их в югославские газеты и, после получения отказа, направляет на Запад. Это тоже не запрещено законом, многие югославские авторы публикуют свои произведения за границей, — конечно, они иного содержания, чем михайловские. М. Михайлов в статьях свободно и прямо высказывает свои мысли, в частности, указывает, что в Югославии конституцией не предусмотрена однопартийная система, как в СССР. «Прошли те времена, когда мы считали вполне нормальным, что одни лишь только коммунисты имеют право свободно и легально заниматься политической деятельностью» — так заканчивает он одну из статей.

Чем больше продвигалась работа по созданию журнала, тем сильнее нервничала власть. М. Михайлов широко публикует сообщение о том, что 10-13 августа 1966 года в Задаре состоится учредительный съезд, на котором будет выработан статут журнала и приглашает на этот съезд югославских и иностранных представителей печати, радио и телевидения. Одновременно он считается с возможностью своего ареста и создает с друзьями запасные планы на этот случай. За два дня до съезда М. Михайлова действительно арестовывают, руководство совещанием перенимают Марьян Батинич и другие. Следует арест М. Батинича, после чего съехавшиеся отказываются от проведения открытого собрания, но не отказываются от решения зарегистрировать журнал. (Впоследствии, при попытке зарегистрировать журнал, арестовывают всю инициативную группу, которую затем освобождают через 3 месяца).

Следуют резкие протесты западной общественности и М. Михайлова освобождают, чтобы «дать возможность подготовиться к защите».

Суд, второй уже, состоялся 22-23 сентября 1966 г. в Задаре и был организован по всем правилам тоталитарных судов: с пропусками, с публикой из активистов

и чекистов, с физическими нападениями на М. Батинича, М. Михайлова и адвоката И. Гловацкого. М. Михайлова обвиняют теперь в намерении «внушить гражданам недоверие к построению социалистических общественно-экономических отношений». Защитную речь, к которой ему так любезно разрешили готовиться, судья М. Михайлову произнести не разрешил. Приговор, общим счетом, гласил: 12 месяцев заключения и денежный штраф.

Поскольку М. Михайлов приговор обжаловал, он находился, до решения Верховного суда, на свободе. Это время он использовал для поездки по стране в целях подготовки издания журнала.

12 ноября М. Михайлов был лишен свободы и через некоторое время направлен в белградскую следственную тюрьму. Ему сообщили, что против него выдвинуто новое обвинение: «создание вражеской организации» (это обвинение впоследствии снято) и «вражеская пропаганда». К нему применяют «усиленный режим», — помещают в темную одиночку, четыре месяца не выводят на прогулку.

Новый, третий, суд состоялся 17, 18 и 19 апреля в Белграде. М. Михайлова защищали блестящий загребский адвокат Иво Гловацкий и белградский адвокат Велько Ковачевич (защитник Милована Джиласа). М. Михайлов был приговорен к 4<sup>1/2</sup> годам каторжной тюрьмы и к 4 годам запрета публичных выступлений и выступлений в печати. Впоследствии тюремный срок был сокращен до 3 лет («в связи с плохим здоровьем заключенного»).

Из Белграда М. Михайлова перевели в каторжную тюрьму города Пожаревац и поставили на общие работы в горячий цех. М. Михайлов начинает добиваться прав, которые должны быть предоставлены политическому заключенному на основании югославских и международных законов. В царской России и королевской Югославии, говорит он, политические заключенные вы-

полняли работы соответственно своему образованию, они имели возможность получать книги и писать, и именно в тюрьме многие из них создали наиболее значительные свои произведения. В социалистической стране, руководство которой претендует на звание демократического, политические заключенные должны обладать по меньшей мере теми же правами, как при старом режиме. М. Михайлов заявил, что его борьба имеет глубоко принципиальное значение и что он добивается прав не только для себя лично. Начальство ему сначала пыталось разъяснить, что в Югославии политических заключенных нет, а есть только криминальные, затем его заключают в «ледник» — неотопливаемую бетонную одиночку, в которой он — зимой — пробыл четыре недели. В знак протеста, М. Михайлов объявил голодную забастовку и, проголодав семь дней, был направлен в госпиталь с тяжелым воспалением легких. Однако режим для всех политических заключенных был смягчен, М. Михайлов начал получать книги и стал писать новую работу.

Друзья и знакомые М. Михайлова, а также многие на западе, считали, что после чехословацких событий власть воспользуется возможностью, чтобы «не теряя лицо» освободить М. Михайлова и сделает это осенью 1968 года, когда будет объявлена амнистия по поводу 25-летия основания социалистической Югославии. Ожидания эти не оправдались.

Таково, в очень сжатом виде, «дело» М. Михайлова. Оно — прекрасный пример того, что движение за свободу и демократию, использующее легальные пути борьбы и отвергающее конспирацию и анонимность, существует во многих социалистических странах. Представители этого движения с правом утверждают, что законы нарушают не они, а преследующая их власть, — все законы, и международные и даже те, которые она сама создала. Но несмотря на то, что право на их стороне, а не на стороне власти, положение их трудное и борьба,

которую они ведут, требует подлинного бесстрашия. Потому что только бесстрашный человек способен сознательно приносить себя в жертву и пренебрегать совершенно для него очевидными опасностями. Ведь Наррица, Тарсис, Есенин-Вольпин, Михайлов, Куронь и Модзелевский, Буковский, Галансков, Лариса Даниэль, Литвинов и многие другие — знали и знают, с кем имеют дело, знали и знают, как будет реагировать власть на их действия. Но в их решении бороться, применяя в борьбе только бескомпромиссную правду и законность — заключена такая сила, что власть, произнося их имена, испытывает мистический ужас и не находит против них никаких иных средств борьбы, как самых примитивных, не имеет других аргументов, кроме тюрьмы и сумасшедшего дома.

С творчеством А. Синявского (Абрама Терца) — работу о котором мы сегодня предлагаем читателю — М. Михайлов познакомился в тюрьме. Написал ее — между двумя судимостями. И сегодня, когда пишутся эти строки, А. Синявский — в потьминских лагерях, М. Михайлов в пожаревацкой тюрьме.

М. Михайлов пишет о А. Синявском, что он — человек «нового зона». Но и М. Михайлов — тоже человек «нового зона». И все они, разрушающие темницу насилия — люди «нового зона». Говорят: этих людей мало, настолько мало, что мы можем почти перечесть по памяти их имена. Это верно. Но акт свободы всегда индивидуален, всегда нов и всегда связан с ярко выраженной личностью, имя которой остается в памяти людей. Духовное же рабство, покорность насилию всегда серы, безлики, массовы, безымянны, — и бесплодны.

*Я. Трушнович*

## ВСТУПЛЕНИЕ

С Терцем я впервые встретился в тюрьме. Из Парижа на мое имя пришел пакет книг, среди которых была тонкая книжечка под заглавием «Фантастические повести». Поскольку я находился еще в следственной тюрьме, пакет мне выдали.

И вот, — произошло чудо. Моя специальность — сравнительная литература и чтение книг — моя профессия. Годы и годы потратил я на чтение мировой литературы и уже жил было в уверенности, что больше нет книги, могущей сказать что-то особенно интересное или новое. Имя Абрама Терца мне ничего не говорило. Из газеты, которая находилась в пакете книг, я узнал, что Терц — псевдоним какого-то молодого советского писателя, посылающего нелегально свои рукописи за границу. Это тоже не было многообещающим. По опыту я знал, что в этих случаях дело идет обыкновенно о не слишком талантливой антикоммунистической литературе.

Но произошло чудо! В промежутках между двумя допросами и ежедневной прогулкой по огороженному крыше тюремного здания мне открылся большой, своеобразный и неповторимый талант, открылось видение мира необыкновенно близкого, но до крайней степени нового, значение которого для современной, а в особенности для русской литературы неизмеримо велико.

И сразу стало ясно: Терц — явление до такой сте-

пени важное, что его значение можно сравнить только с тем значением, которое имел для европейской литературы середины этого столетия Франц Кафка. А поскольку дело идет о русской литературе так называемого «социалистического периода», то само появление такого рода писателя — событие первостепенной важности.

И вообще не было понятно, — как получилось, что я до тех пор ничего не знал о существовании Абрама Терца? До какой степени незначительны в сравнении с Терцем и Дудинцев и Евтушенко, и Эренбург и Вознесенский! Терц был до такой степени нов, что читая его, мне казалось, что это писатель какой-то другой, до сих пор неизвестной эпохи и только обстановка в его прозе говорила о том, что автор — человек нашей эпохи, что он живет в наше время. Все было так же, как в любом советском романе — те же улицы, дома, те же герои — государственный руководитель и старая революционерка, молодой писатель и полковник НКВД, и тем не менее все было по другому. Ничего узко политического, никакого исключительно социального протеста у Терца нет. Мир Терца — это видение не социальное, а метафизическое, — видение нашей жуткой эпохи. По отношению к Шолохову, Терц стоит примерно в том же соизмерении, как Тургенев к Маяковскому. Самое главное, что их отличает, — не стиль, не форма, не язык, а дух обоих художников. Тургенев и Маяковский, Шолохов и Терц — люди с разных планет. Но Шолохов это прошлое, Терц — будущее.

Случай хотел, чтобы вскоре после Терца я прочел еще одну книгу, которая меня так же потрясла и удивила. Это был гениальный роман Джорджа Орвелла «1984», — книга, которая, по моему глубокому убеждению — одно из наиболее значительных творений нашей эпохи, книга, в которой дух современной эпохи открыт до своих последних корней, причин и следствий. Внутренняя духовная связь между Орвеллом и

Терцом была очевидна, с той разницей, что Орвелл трагичен, а Терц — ироничен. Очевидно было также, что они не знали друг о друге, когда писали свои произведения. И это было наиболее интересным. Один и тот же дух одновременно появляется в Британском королевстве и социалистической России. Но больше всего удивляло меня, — как это я до сих пор ничего не слышал о Терце?! Как я ничего не слышал об Орвелле? Почему о них в мире так мало пишут? Для меня это остается неразрешимой загадкой.

Что такое Хемингуэй в сравнении с Орвеллом? Поверхностный, бледный новеллист. Что Леонов в сравнении с Терцом? Консервативный, устарелый книгописец. И все же о Хемингуэе и Леонове ежегодно пишут многочисленные книги и исследования, а о Терце и Орвелле мало кто и знает — во всяком случае, что касается социалистических стран.

Может быть подлинная причина этого в том, что читатели Терца и Орвелла находятся в социалистическом мире, где их книги достать невозможно, — в то время как на Западе, где человек может прочесть все, что только пожелает, до сих пор еще нет людей, которые бы знали, твердо знали, всем своим существом, — до какой степени и Орвелл и Терц р е а л и с т ы.

Конечно, каждому, кто знаком с духом и практикой Советского Союза понятно, почему писатель, пишущий под псевдонимом Терца, должен пересылать на Запад свои рукописи нелегально. Терц менее политически актуален, чем Дудинцев, чем Солженицын, и несмотря на это их напечатали, в то время, как о печатании Терца не может быть и речи, и как нет никакой надежды, что в СССР в ближайшем времени будет опубликован пастернаковский «Доктор Живаго». И это не потому, что Терц — политический противник, антикоммунист, новый социальный реформатор. Терц в этой плоскости даже не возвращается. Но дух произведе-

ний Абрама Терца до такой степени несовместим со всей шкалой основных ценностей, — официально признанных в СССР со времен октябрьской революции до наших дней, — что читатель даже не задает себе вопроса — почему писателя такого масштаба, такого зрелого мастера не публикуют на его родине? Пока существует самая возможность таких явлений, как Терц — весь оглушительный шум вокруг «создания новых общественных отношений», вся жуткая техника сталинщины, коллективизации и концлагерей — все это не проникает в глубину, остается на поверхности жизни. В этом смысле Терц больший, более реальный реалист, чем Шолохов, потому что Шолохов поверхностные проявления жизни ощущает как последнюю, окончательную, абсолютную реальность, — а Терц, как и Достоевский, вскрывает самую первооснову явлений.

Обстановка, в которой происходит действие новелл Терца — неповторимо советская. Кухни коммунальных квартир, в которых домохозяйки запирают на замки крышки кастрюль, восторг от брюк, сшитых из «настоящей чешской полушерсти», все бесконечные детали, которые невозможно подделать, говорят о том, что Терц от рождения кровно связан с советской почвой и что он, вероятно, никогда не бывал на Западе.

Известные родственные связи можно было бы найти между Терцем и русскими писателями начала века: Евгением Замятиным и Александром Грином. С первым Терца связывает техника писания, со вторым — мистицизм. На Западе — Кафка, Орвелл.

### «СУД ИДЕТ»

«Суд идет, суд идет по всему миру. И уже не Рабиновича, уличенного городским прокурором, а всех нас, сколько есть вместе взятых, ежедневно, ежедневно ведут на суд и допрос. И это зовется историей.

Звонит колокольчик. — Ваша фамилия? Имя?  
Год рождения?  
Вот тогда и начинаешь писать».1)

А. Терц «Суд идет» (стр. 167)

Роман «Суд идет» — одно из наиболее ранних произведений Терца, написан в 1956 году.

Роман не очень удаляется от классической схемы повествовательной прозы и кроме великолепного «Пролога» и нескольких отступлений, представляет собой своеобразное реалистически-экспрессионистическое видение сталинщины. Рассказ ведется от лица писателя, который в известном смысле участвует в действии. Из «Пролога» мы узнаем, что со стороны «наивысших инстанций» писателю оказано доверие и он должен описать несколько типичных представителей «нашей героической эпохи», а из эпилога узнаем, что

«Я прибыл в тот лагерь позже других, летом пятьдесят шестого... После амнистии лагерь опустел. Нас, крупных преступников, здесь осталось каких-нибудь тысяч десять ...Все, что я написал, как это установило следствие, являлось плодом злого умысла, праздного вымысла и большого воображения»... (стр. 203).

Писатель оказался в концлагере, где копает канавы вместе с двумя героями своего романа.

Главный герой романа — государственный прокурор Владимир Глобов, фанатичный сталинец, сын которого, Сережа, пытается основать «революционную организацию» и кончает в тюрьме, в то время, как жена главного героя, мачеха Сережи, изменяет мужу с адвокатом Карлинским.

Мастерской современной техникой письма, где исключение всего несущественного делает прозу необычайно сгущенной, описаны с большой примесью гротеска и иронии Глобов и его жена, Сережа и адвокат Карлинский, школьница Катя и следователь КГБ.

Стержень всего романа в конфликте отца Глобова,

стоящего на точке зрения, что «цель оправдывает средства» и его сына — Сережи, — который с этим не соглашается.

«Ты одно пойми: главное — великая цель наша. Ею все и мерь — от Шамиля до Кореи. Этой целью любые средства освещены, все жертвы оправданы. Миллионы, подумай, миллионы ради нее погибли, последняя война чего стоит. А ты со всякими поправками лезешь — это несправедливо, то неправильно» (стр. 144).

...говорит Глобов сыну. На стороне Глобова — мать его первой жены, бабушка Сережи, старая революционерка, входящая в конфликт с Глобовым только после ареста Сережи.

«Вам известно, мамаша, как танки идут в атаку? — хрипло спросил Глобов и встал. — Они давят все на пути. Случается — своих же бойцов, раненых. Танку объезжать нельзя. Если он будет сворачивать перед каждым раненым, его расстреляют в упор из противотанковых пушек. Он должен давить и давить!

Больное лицо прокурора было скорбно и торжественно. Екатерина Петровна невольно встала вслед за ним.

— Что ты мне, Володя, азбуку объясняешь? Наша цель многих жертв стоит. Но только ради нее, понимаешь, ради нее одной» (стр. 182).

Самый большой гротеск в том, что и в Сережиной антисоветской революционной концепции цель оправдывает средства, хотя он этого не сознает. И нехотя мы вспоминаем клятву главного героя «1984» Орвелла, что он будет бороться против диктатуры партии всеми возможными, даже самыми грязными средствами потому что ...она грязна и не выбирает средств.

На «нелегальной встрече» в зоопарке Сережа рассказывает школьнице Кате:

«Сережа воодушевился. Он снял кепку, не боясь простудиться, и размахивал ею в такт словам. Перед Катей открылся мир, коммунистический и лучезарный.

Самую большую зарплату получали уборщицы. Министры же для пущего бескорыстия находились на скудном пайке. Денежную систему, пытки, воровство — отменили. Наступила полная свобода и уж так хорошо получалось, что никто никого не сажал, а каждый имел по потребностям. На улицах были расклеены плакаты Маяковского. И еще другие, сочиненные Сережей: «Остерегайся! Ты можешь оскорбить человека!». Это на всякий случай, чтоб не забывались. А кто забудет — расстрел.\*)

Впрочем, в сережинном изложении все выходило куда более стройно, и Кате оставалась неясной только одна деталь, сейчас же силой оружия свергнуть правительство или, может, повременить, пока другие страны не покончат с капитализмом? Сережа советовал подождать мировой революции, но признавал, что потом, как это ни печально, придется все-таки свергнуть» (стр. 169).

Комично здесь то, что это те же методы, которые в молодости должны были превозносить и проповедовать прокурор Глобов и сережина бабушка-революционерка. И в этом Абрам Терц отличается от всех современных советских бунтарей и социальных реформаторов типа Дудинцева и Евтушенко. Терцу ясно, что — если оно остается только в социальной сфере — любое исправление общества и «построение общественных отношений» должно неминуемо окончиться террором. Характерен в этом отношении диалог сережиной подруги Кати с циничным адвокатом Карлинским, к которому Катя пришла, чтобы посоветоваться насчет сережиной «революционной» программы.

«— Революция, партмаксимум, демократическая кособоротка покроя двадцатых годов, — он помахал тетрадь, что принесла ему Катя. — Примерно в том же духе рассуждали троцкисты...

Катя была шокирована: при чем тут эти враги народа,

---

\*) Выделено здесь и дальше М. Михайловым. — Переводчик.

диверсанты, вредители? Таких надо уничтожать беспощадно, как делает Берия. А сержина организация, покамест безымянная, борется за свободу, за настоящую советскую власть. Она гадливо вздохнула, вспомнив карикатуру в газете, где Троцкий, или Тито, или еще какой продажный убийца в виде хвостатой крысы восседал со своими прихвостнями на горе из человеческих костей.

Но Юрий не стал уточнять, кто такие троцкисты. Гораздо забавнее было ампула ортодокса. Ему, всю жизнь защищавшему мошенников да спекулянтов, выступить вдруг адвокатом первого в мире государства!.. (стр. 183).

— Нельзя допустить, чтобы... Всему миру известно. Либо — либо. Пусть. Марксизм, нигилизм, наплевизм. Фракция, акция. Левацкий загиб, правый уклон. Сугубо. Требуется жертв. Великой цели. Во имя. Цель, цель, цель.

— Для хорошей цели и средства нужны хорошие, — слабо сопротивлялась Катя.

Карлинский ожесточился: эта тихоня толком не знает, откуда дети родятся, а туда же, рассуждает, мнит себя Софьей Перовской.

— Средства хорошие? Мокрого места не останется ни от Вас, ни от Ваших средств... Да вы сами, дай Вам власть... Если я, например, захочу быть императором... Или, по крайней мере, взорву памятник Пушкину у Тверского бульвара... По головке погладите? Так не все ли мне равно в какой кутузке сидеть? Реформаторы! Хорошего социализма желаете, свободного рабства?..» (стр. 184).

Но наиболее ценное в романе то, что социальный план сталинщины перерос в космическое, метафизическое видение мира и жизни. И здесь Терц соприкасается с Кафкой и опять, как в романе Алексея Ремизова «Пруд» и в «Процессе» Кафки, появляется пара загадочных сыщиков-близнецов. И сталинизм становится не только социальным злом, а открывается как универсальное, космическое зло. Вот пролог романа, который стоит того, чтобы привести его полностью.

## ПРОЛОГ

«Когда не хватало сил, я влезал на подоконник, высывал голову в узкую форточку. Внизу шлепали калоши, детскими голосами кричали кошки. Несколько минут я висел над городом, глотая сырой воздух. Потом спрыгивал на пол и закуривал новую папиросу. Так создавалась эта повесть.

Стука я не слышал. Двое в штатском стояли на пороге. Скромные и задумчивые, они были похожи друг на друга, как близнецы.

Один осмотрел мои карманы. Листочки, разбросанные по столу, он собрал аккуратно в стопку и, посплюнявив пальцы, насчитал семь бумажек. Должно быть для цензуры, он провел ладонью по первой странице, сгребая буквы и знаки препинания. Взмах руки — и на голой бумаге сиротливо копошилась лиловая кучка. Молодой человек ссыпал ее в карман пиджака.

Одна буква — кажется «з», — шевеля хвостиком, быстро поползла прочь. Но ловкий молодой человек поймал ее, оторвал лапки и придавил ногтем.

Второй тем временем заносил в протокол все детали моей интимной жизни. Он выстукивал стены, рылся в белье и даже носки выворачивал наизнанку. Мне было стыдно, как на медицинском осмотре.

— Вы меня арестуете?

Двое в штатском застенчиво потупились и не отвечали. Я не чувствовал за собою вины, но понимал, что сверху виднее, и покорно ждал своей участи.

Когда все было кончено, один из них взглянул на часы:

— Вам оказано доверие.

Стена моей комнаты стала светлеть и светлеть. Вот она сделалась совсем прозрачной. Как стекло. И я увидел Город.

Подобно коралловым рифам возвышались здания Хра-

мов и Министерств. На шпилях многоэтажных строений росли ордена и бляхи, гербы и позументы. Лепные, литые, резные украшения, сплошь из настоящего золота, покрывали каменные громады. Это был гранит, одетый в кружево, железобетон, разрисованный букетами и вензелями, нержавеющая сталь, обмазанная для красоты кремом. Все говорило о богатстве людей, населяющих Великий Город.

А над домами, среди разодранных облаков, в красных лучах восходящего солнца, я увидел воздетую руку. В этом застывшем над землей кулаке, в этих толстых, налитых кровью пальцах была такая могучая, несокрушимая сила, что меня охватил сладкий трепет восторга. Зажмурился глазами, я упал на колени и услышал голос Хозяина. Он шел прямо с небес и звучал то как гневные раскаты артиллерийских орудий, то как нежное мурлыканье аэропланов. Двое в штатском замерли, вытянув руки по швам.

— Встань, смертный. Не отвращай взора от Божьей десницы. Куда бы ты ни скрылся, куда бы ни запрятался, всюду достигнет она тебя, милосердная и карающая. Смотри!

От парящей в небе руки упала громадная тень. В том направлении, где она пролегла, дома и улицы раздвинулись. Город открылся, как пирог, разрезанный надвое. Виднелась его начинка: комфортабельные квартиры с людьми, спящими попарно и в одиночку. По-младенчески чмокали губами большие волосатые мужчины. Загадочно улыбались во сне их упитанные жены. Равномерное дыхание подымалось к розовеющему небу.

Только один человек не спал в этот утренний час. Он стоял у окна и смотрел на Город.

— Ты узнал его, сочинитель? Это он — твой герой, возлюбленный сын мой и верный слуга — Владимир.

Божественный баритон гудел у моего уха.

— Следуй за ним по пятам, не отходи ни на шаг. В минуту опасности телом своим защити. И возвеличь!

Будь пророком моим! Да воссияет свет, и содрогнутся враги от слова, сказанного тобой!

Голос умолк. Но стена моей комнаты оставалась прозрачной, как стекло. И кулак, застывший в небе, висел надо мною. Еще исступленней был его взмах, толстые пальцы побелели от напряжения. А человек все стоял у окна, глядя на спящий Город. Вот он застегнул мундир и поднял руку. Она казалась маленькой и слабой рядом с Божьей десницей. Но жест ее был столь же грозен и столь же прекрасен» (стр. 137-138).

А вот как поэтически (это место напоминает «Глаза» Замятина) описана смерть Сталина:

«Хозяин умер.

Сразу стало пустынно. Хотелось сесть и, подняв лицо к небу, завывать, как воют бездомные псы.

Они бродят по всей земле, потерявшие хозяев собаки, и нюхают воздух: тоскуют. Никогда не лают, а только рычат. С поджатым хвостом. А если виляют, то так — словно плачут.

Завидя человека, они отбегают в сторону и долго смотрят — не он ли? — но не подходят.

Они ждут, они всегда ждут и просят кого-то протяжным взглядом: — О приди! Накорми! Ударь! Бей, сколько хочешь (не слишком сильно, пожалуйста). Но только приди!

И я верю: он придет, справедливый и строгий. Он заставит визжать от боли и прыгать на цепи. И ты подползешь к нему на брюхе, заглянешь в глаза и положишь ему на колени лохматую голову. А он будет хлопать по ней ладонью, и смеяться, и ворчать что-то успокоительное на мудреном хозяйском наречье. А когда он заснет, ты будешь стеречь его дом и брехать на всех проходящих...

Кое-где уже слышен скулеж:

— Давайте жить на свободе и резвиться, как волки.

Но я знаю, я слишком хорошо знаю, что они жрали раньше, эти продажные твари — пуделя, болонки и мопсы.

И я не хочу свободы. Мне нужен Хозяин.

Ах, какая собачья тоска! Где утолю мой пронзительный, долгий, годами не кормленный голод?

Сколько их затеряно в мире, бездомных бродячих собак!» (стр. 199).

## РАЗРУШЕНИЕ РЕАЛЬНОСТИ

От космического видения, которое несколько раз появляется в романе «Суд идет», Терц развивается дальше через рассказы «Квартиранты» (1959) и «Графоманы» (1960), — рассказы, в которых за феноменом «реального» мира все больше раскрываются иррациональные и сверхприродные силы, — и через рассказ «Ты и я» (1959), в котором открывает существование личного Бога, и в превосходном рассказе «Гололедица» (1961) приходит к целостному мистическому видению жизни и мира.

За гротеском и иронией в рассказе «Квартиранты», за банальной повседневностью коммунальной квартиры, автор открывает, — а мы так и не знаем, всерьез он или шутит, — что в нашем мире присутствует другой, мифический:

«...Таким образом, в скором времени одни русалки остались. Да и те... Сами знаете: индустриализация природных богатств. Дорогу технике! Ручьи, реки, озера химическими веществами пропахли. Метилгидрат, толуол. Рыба — та попросту дохнет и вверх брюхом плавает. А эти, бывало, вынырнут, отфыркаются кое-как, а из глаз — не поверите! — слезы от горя и разочарования. Сам видел. По всему роскошному бюсту — стригущий лишай, экзема и даже, простите за нескромность, венерические рецидивы

Куда спрячешься?

Не долго думая — туда же, вслед за лешаками, за ведьмами — в город, в столицу. По каналу Москва-Волга, через эти самые шлюзы — в сеть водоснабжения, где по-

чище да посытнее. Прощай, родимый край, первобытная обстановка!

Сколько их тут погибло! Видимо-невидимо. Конечно, не на совсем. Бессмертные создания все-таки. Ничего не попишешь. Но которые из них помяснее — в водопроводных трубах застряли. Да вы сами, вероятно, слышали. На кухне кран отвернете — оттуда вдруг рыданья несутся, бултыханья разные, чертыханья. Думаете — чьи это шутки? — Их голоса — русалок. Застрянет в умывальнике и ну капризничать, ну чихать!» («Квартиранты», стр. 69).

В водопровод вселяются русалки, а в советских домохозяек — ведьмы:

«Сама ты ведьма! Куда сегодня ночью верхом на унигазе каталась?» (стр. 71).

Но если мир реальностей только видимость, из-за которой скрывается таинственный мир мифов, если существуют надприродные силы, то тогда возможно и существование всезнающей и всемогущей силы — Бога. Трагический реалистический рассказ «Графоманы», в котором изображается жизнь советского писателя-неудачника, неожиданно заканчивается такой картиной:

«От усталости и расстройства я выписывал вензеля ногами, спотыкался, покачивался. Мой тяжкий путь по мостовой был причудлив и зигзагообразен. Вдруг мне показалось, что я не сам иду по улице, а чьи-то пальцы водят мною, как водят карандашом по бумаге. Я шел мелким неровным почерком, я торопился изо всех сил за движением руки, которая сочиняла и записывала на асфальт и эти безлюдные улицы, и эти дома с непогашенными кое-где окошками, и меня самого, всю мою длинную-длинную неудачную жизнь.

Тогда я вырвался, круто затормозил, остановясь на полном разгоне, и чуть не упал и посмотрел исподлобья в темное небо, низко нависшее над моим лбом. Я сказал негромко, но достаточно основательно, обращаясь прямо туда:

«Эй, ты, графоман! Бросай работу! Все, что ты пишешь

— никуда не годится. Как ты все бездарно сочинил. Тебя невозможно читать...» («Графоманы», стр. 31).

Необычайно интересен рассказ «Ты и я», в котором эпиграф — цитата из Библии: «И остался Иаков один. И боролся некто с ним до появления зари...».

И не случайно название рассказа идентично с основным философским трудом Мартина Бубера — «Я и ты».

Рассказ идет попеременно, то от лица советского служащего Николая Васильевича, то от всезнающего другого лица — Бога.

Мелкий советский служащий неожиданно заболел манией преследования, как когда-то «Двойник» Достоевского. Это даже выражено теми же словами:

«Хорошо, по крайней мере, что ты вовремя спохватился и застыл на месте как мертвый, будто это и не ты вовсе и тебя нет» (стр. 60).

На семейном празднике, в доме одного сослуживца:

«В дополнение ко всему тебе внезапно почудилось, что кто-то невидимый и всевидящий глянул в это мгновение (в окно ли, со стены, или сквозь стену?) — на тебя и на всех сидящих выпрямленно...» (стр. 49).

Но самое трагическое и одновременно комическое во всем этом, что герой, которому свойственен совершенно «современный» образ мышления — этот взгляд «некого» идентифицирует со вниманием КГБ:

«Ему казалось, что за ним кто-то персонально следит, и это был — я, а он думал — они, и это меня рассмешило. Я сосредоточился на нем, я взял его крупным планом в световое пятно зрачка. Он был как бактерия под микроскопом, и я его рассматривал во всех жалких подробностях» (стр. 52).

И герой, конечно безуспешно, пытается избежать внимания всевидящего, думая, что дело идет об органах безопасности. Он маскируется, не выходит из дому, бежит. Но самое таинственное в том, что и Наблюдающий не может от него оторваться:

«Четвертые сутки он находится в поле моего наблюдения. Я кажусь ему питоном, чей хладнокровный взгляд лишает кролика чувств. Его представления обо мне — сущий вздор. Но если даже принять за основу эти нелепые фантазии, я не знаю, кто из нас кого держит на привязи: я его, или он — меня? Мы оба попали в плен, не в силах оторвать друг от друга остекленевшие взгляды. И хотя он не видит меня, из-под его белесых ресниц бьет в моем направлении такой сноп страха и ненависти, что мне хочется крикнуть: «Перестань! Не то проглочу! Стоит мне захлопнуть веки — и ты пропадешь, как муха!». Это состязание начинает меня утомлять.

— Глупец! Пойми — ты живешь и дышешь, пока я на тебя смотрю. Ведь ты только потому и есть ты, что это я к тебе обращаюсь. Лишь будучи увиденным Богом, ты сделался человеком... Эх, ты!»... (стр. 56-57).

«...Это тяжелое зрелище мозолило мне глаза. Они тоже изрядно болели. Казалось, у меня между век вставлены спички-распорки, и оба глазных яблока расцарапаны до крови.

Чтобы дать себе роздых, а также по возможности облегчить его страдания, вызванные моей наблюдательностью, я старался глядеть в другую сторону и часто избирал для прогулок самые отдаленные улицы — Марьину рощу, Большую Оленью, что в районе Сокольников. Но это не помогало. Куда бы я ни двигался — пешком или на троллейбусе — передо мной маячили злые глаза и веснушчатые рыжеволосые пальцы...

Я хорошо понимал, что всё это может плохо кончиться. Когда стало невмоготу, я взял такси и выехал на место событий... Я нуждался в третьем лице для забвения и защиты от моего преследователя» (стр. 61).

«Но мы не могли, сколько ни бились, отвлечься друг от друга, побороть притяжение, влекущее нас к катастрофе» (стр. 62).

В конце концов катастрофа становится неизбеж-

ной. Герою никаким путем не удастся избежать взгляда, который следит за ним даже изнутри:

«Ему казалось, что выключив мозг с помощью очевидной бессмыслицы, он избавится от соглядатаев, подсматривающих за ним изнутри. Мало ему было восстанавливать против себя целый свет. В самом себе он заметил следы моего тайного розыска и решил сразиться со мною на путях своего сознания» (стр. 62).

Герой рассказа кончает тем, что перерезает себе горло бритвой. В последний момент его наблюдатель полностью превращается в человека и вступает в связь с женщиной, которая любит героя, — чтобы оторвать взгляд от своей жертвы:

«Скорее, скорее уйди, зарыться в свои занятия, чтобы ты тоже, наконец, перестал обращать на меня внимание, перестал бы бояться, таиться и лелеять в душе мстительные расчеты»... (стр. 64).

Но напрасно. В тот момент, когда Наблюдатель берет женщину — Николай Васильевич убивает себя. Рассказ оканчивается так:

«Все было по-старому. Шел снег и было такое же самое состояние суток. Два инженера — его бывшие сослуживцы, Лобзиков и Полянский — играли на рояле Шопена. Четыреста женщин по-прежнему рожали четыреста младенцев в минуту. Вера Ивановна прикладывала примочку к посиневшему глазу Генриха Ивановича. Шатенка надевала штаны. Брюнетка, склонясь над тазом, готовилась к встрече с Николаем Васильевичем, который, как бывало, бежал под хмельком по морозцу. Труп Николая Васильевича лежал в запертой комнате. Лида, как часовой, ходила под его окнами.

Я видел это и неотвязно думал о нем. Мне было немного грустно.

Ты ушел, а я остался. Я не жалею о твоей смерти. Мне жаль, что я не могу тебя забыть» (стр. 65).

Необыкновенно интересно в рассказе «Ты и я» видение мира, наблюдаемого всезнающими глазами и в

котором одновременность множества событий создают картину, бесчисленное число раз повторяющуюся и в сущности своей не меняющуюся:

«Так постепенно, сквозь сугробы и стены, в том числе сквозь спину Николая Васильевича, пронизанную электрическим светом и удаляющуюся по наклонной к брюнетке, мне представилась панорама.

Шел снег. Толстая женщина чистила зубы. Другая тоже толстая, чистила рыбу. Третья кушала мясо. Два инженера в четыре руки играли на рояле Шопена. В родильных домах четыреста женщин одновременно рожали детей.

Умирала старуха.

Закатился гривенник под кровать. Отец, смеясь, говорил: «— Ах, Коля, Коля». Николай Васильевич бежал рысцой по морозцу. Брюнетка ополаскивалась в тазу перед встречей. Шатенка надевала штаны. В пяти километрах оттуда — ее любовник, тоже почему-то Николай Васильевич, крался с чемоданом в руке по залитой кровью квартире.

Умирала старуха — не эта, иная.

Ай-я-яй, что они делали, чем занимались! Варили манную кашу. Выстрелил из ружья, не попал. Отвинчивал гайку и плакал. Женька грел щеки, зажав «гаги» под мышкой. Витрина вдребезги. Шатенка надевала штаны. Дворник сплюнул с омерзением и сказал «Вот-те на! Приехали!».

В тазу перед встречей бежал рысцой с чемоданом. Отвинчивал щеки из ружья, смеясь рожал старуху: «Вот-те на! Приехали!». Умирала брюнетка. Умирал Николай Васильевич. Умирал и рождался Женька. Шатенка играла Шопена. Но другая шатенка — семнадцатая по счету — все-таки надевала штаны.

Весь смысл заключается в синхронности этих действий, каждое из которых не имело никакого смысла. Они не ведали своих соучастников. Больше того, они не знали, что служат деталями в картине, которую я создавал, глядя

на них. Им более невдомек, что каждый шаг их фиксируется и подлежит в любую минуту тщательному изучению.

Правда, кое-кто испытывал угрызения совести. Но чувствовать непрестанно, что я на них смотрю в упор, не сводя глаз, проникновенно и бдительно, — этого они не умели. В своем заблуждении они поступали, может быть очень естественно, но в высшей степени недалековидно...» (стр. 51).

### «ГОЛОЛЕДИЦА»

Я вспоминал наш попутный разговор с профессором о «недоразвитом мозге». «Недоразвитый мозг» — думал я — он видит, он зрячий, но какой беспомощный! и надо дисциплину — узду для его развития и укрепления, надо Эвклидову геометрию; а «развитой мозг», втиснутый в эвклидово железо, слепой, не видит. А вот, когда станет тесно и все аксиомы разорвутся, как цепи, и ты и не хочешь, а увидишь и басаркунов, и полудниц и полдневного, и кикимор, и эспри, и гешпенстов, и всяких цвергов — «бесов», но уже не так, с пустыми руками.<sup>2)</sup>

Алексей Ремизов

Большой рассказ Терца «Гололедица» (1961 г.) — несомненно один из наиболее оригинальных рассказов русской литературы нашего времени. Он занимает особое положение в ряду всего, что написано за последние десятилетия (и не только в русской литературе!) благодаря новому, необыкновенному, видению реальности, новой метафизике жизни. Она отличается ото всей остальной литературы нашего времени как теория Эйнштейна от механики Ньютона.

Но не будем забывать, что Терц не философ, а художник, и «Гололедица» не философский трактат, а художественный рассказ. Необыкновенно интересный, напряженный и содержательный, с полностью законченной фабулой, — но происходящий в мире, непри-

вычном для «современного» образа мышления. В новом мире, в котором широко раздвинуты границы реальности, в котором время становится таким же преодолимым измерением, как пространство, в этом, для наших понятий «нереальном» мире — Терц реалист. Но это новый реализм, реализм человека нового духовного эона, как сказал бы Николай Бердяев — «нового средневековья».

Фабула этого рассказа такова: повествование идет от первого лица и обращено к читателю будущих времен, который, как мы узнаем позже, идентичен писателю, но рожденному снова, после нескольких метаморфоз. Автор описывает необычный случай, происшедший с ним зимним днем на одном из московских бульваров, когда автор сидел на скамейке со своей любимой и вспоминал события из своего детства. И тогда произошло что-то странное:

«И я ворошил свои младенческие впечатления в надежде там отыскать что-то давно забытое. Наверное это и послужило психологической предпосылкой физиологических изменений, которые произошли со мною в тот вечер и изменили в короткий срок всю нашу жизнь.

Сейчас, по прошествии многих лет, я затрудняюсь сказать в точности, как было дело. Может быть, я заранее был к этому подготовлен всем ходом своего развития и мне, как говорится, на роду было написано испытать всё то, что я впоследствии испытал. Не знаю, не знаю... Во всяком случае в ту минуту я ни о чем таком не думал, а просто колотился в барьеры памяти, пытаюсь раздвинуть их и вспомнить, что было раньше. И вот какая-то роковая преграда неожиданно рухнула, и я провалился в пустоту, почти физически пережив неприятное чувство падения. Я падал, и падал, и падал, ничего не понимая, и когда пришел в себя, вся окружающая обстановка была не такой и сам я был не совсем таким.

Я находился в длинном ущелье, стиснутом рядами голых гор и гладких холмов. Дно его покрывала корка льда.

По краю льда, перед отвесными скалами, росли деревья, тоже голые. Их было мало, но близость лесного массива давала о себе знать глухим ветренным шумом. Пахло падалью. Во множестве светились гнилушки. Впрочем, то были не гнилушки, а скорее всего это были клочья Луны, растерзанной волками и ожидающей срока, когда ее кости, хрящи, мослы опять обростут белым светящимся мясом и она поднимется в небо под завистливый вой волков...

Но понять и обдумать всё это я не успел: на меня бежал с раскинутой пастью зверь. Он быстро-быстро перебирал невидимыми ногами, и я мог догадаться, что ног у него не четыре и даже не пять, а по крайней мере столько же, сколько у меня пальцев на ногах и на руках вместе взятых. Вот сколько. Он был пониже мамонта, но зато упитаннее и здоровее самого большого медведя и, когда он приблизился вплотную, я заметил, что брюхо он имеет прозрачное, как светлый рыбий пузырь, и там ужасно бультыхаются проглоченные живьем человечки. Должно быть, он был так прожорлив, что глотал их не жуя, и жертвы, попавшие к нему в желудок, все еще вертелись и подскакивали.

Конечно, те ощущения я передаю приблизительно, своими словами. Тогда у меня в голове и слов никаких не было, а были, можно сказать, одни условные рефлексy и разные, как их теперь называют, религиозные пережитки, и я, терзаясь страхом, бормотал заклинания, характер которых я сейчас не решусь воспроизвести на бумаге. Но в то мгновение, помнится, эти бессмысленные заклинания возымели определенное действие, и смягчившееся чудовище удалилось вдоль скал, не тронув меня, только выбросило угрожающе вверх сноп электрических искр. И наверное потому, что эти искры в моем затемненном мозгу все-таки отозвались «электрическими», я понял тотчас, что это мимо меня проехал безвредный троллейбус, и утраченное состояние настоящей минуты вновь вернулось ко мне...» (стр. 80-81).

Мгновенное видение нереального исчезает и снова

развивается «нормальный» рассказ. Автор со своей любимой Наташей встречает Новый Год в компании и желая развеселить присутствующих, предлагает «отгадывать прошлое и будущее». Но внезапно получается так, что рассказчик на самом деле за временной формой реальности начинает видеть далеко вперед и назад в прошлое людей, находившихся перед ним:

«Вслед за грузином все прочие гости тоже начали как-то меняться. Контуры тел, росчерки лиц пришли в дрожание, напоминающее вибрацию сигнализационных приборов. Каждая линия перестраивалась и расплывалась, порождая десятки дышащих очертаний. У многих женщин выросли бороды, блондины темнели и переходили в брюнетов, а затем лысели до основания и вновь покрывались свежим волосом, и покрывались морщинами, и молодели, до того молодели, что становились похожими на детей, кривоногих, большеголовых, мутноглазых, которые в свой черед принимались расти, закаляться, толстеть и худеть.

При всем том каждый сохранил какое-то подобие первоначального облика, так что я имел возможность с некоторым трудом распознавать их и беседовать с ними, хотя теперь я ни в чем бы не посмел поручиться в их судьбе и жизненном поприще.

Еще недавно я твердо знал, кто из них вор, а кто двоеженец, и кто тут тайная дочь беглого белогвардейца, а сейчас всё смешалось и находилось в развитии, и я не мог понять, где кончается один человек и начинается следующий. Когда один молодой инженер по фамилии Бельчиков обратился ко мне учтиво и предложил угадать, в каком году он родился, у меня моментально чуть не вылетела изо рта дикая цифра, нарушающая все законы, установленные природой: 237-й год до нашей эры!

Этот ответ пришел мне на ум помимо воли, автоматически, под воздействием, видимо, тех изменений, какие произошли в Бельчикове. На инженере эфемерно светилась старинная пожарная каска, а под его широким шерстяным костюмом свешивались белые простыни, в которые он

весьма неловко завернул рослое тело, оставив неубранными голые ноги в брюках. Но, разумеется, не эти брюки, а пожарная каска и какие-то другие неуловимые элементы вдохновили меня на мысль, что инженер Бельчиков родился в 237-ом году. И не просто в 237-ом году, а до нашей эры.

К счастью, я не высказал это вслух: каска рассеялась в воздухе, а простыни заволновались и оттуда появилась фигура не слишком юной, но вполне еще дееспособной красавицы — безо всяких простыней. Я, не колеблясь, узнал в ней проститутку, тоже, должно быть, довольно древнего происхождения. Всем своим телом она делала веселые знаки, но мой глаз не успел насладиться ею, как легкомысленное создание исчезло, оставив вместо себя не то попа, не то просто скопца мужского пола. Этот в свою очередь, подрожав две секунды, превратился опять в проститутку, но — другую, показавшуюся мне менее привлекательной, чем та, которая была вначале. И так они менялись и сменялись друг с другом, монахи и проститутки, проститутки и монахи, выступая всякий раз в новом качестве и в разной цене, покуда не достигли опять положения инженера Бельчикова» (стр. 89-90).

Рассказчик пытается объяснить себе и другим эти странные происшествя — разрушение «реальности момента».

«Спешу оговориться: я не собираюсь из этого делать никакой теории и не хочу ни подо что подкапываться. Мне хорошо известно, что всякий человек, будь то хотя бы сам Леонардо да Винчи, есть производный продукт экономических сил, которые всё на свете производят и экономят. Я желал бы добавить к этому только одно замечание, что человеческий, так сказать, индивидуум, характер, личность и даже — если угодно — душа — тоже не играют в жизни никакой роли, а есть лишь опечатка нашего зрения, вроде пятен в глазу, возникающих в тех, например, случаях, когда мы тычем в него пальцем или долго, не мигая, смотрим на яркое солнце.

Мы привыкли, что люди ходят в воздухе, который кажется нам пустым и прозрачным, тогда как людские фигуры, овеваемые ветерком, имеют видимость твердости и большой густоты. Вот эту равномерную плотность и законченность силуэта, выступающего особенно хорошо на светлом воздушном фоне, мы ошибочно переносим на внутренний мир человека и называем это «характером» или «душой». На самом же деле души — нет, а есть лишь отверстие в воздухе, и сквозь это отверстие проносится нервный вихрь разобщенных психических состояний, меняющихся от случая к случаю, от эпохи к эпохе.

Когда я выше упомянул, что в судьбе инженера Бельчикова видное место занимали распутницы и попы, я не хотел ничем задеть этого славного человека, а попросту констатировал общее положение дел. Не сам инженер Бельчиков, а тот, кто в настоящий момент жил под его псевдонимом, точнее сказать — та невыразимая дырка, которая в данный отрезок времени была заполнена его инженерским Бельчиковским состоянием, в другие времена служила пристанищем совсем иным состояниям, регулярно обновлявшимся, — уж я не знаю зачем, может быть в целях какого-нибудь исторического баланса.

Любой из нас, если будет к себе внимательным, обнаружит без труда самые неожиданные рецидивы прошедших и будущих состояний, вроде, например, желания украсть, убить или продаться за хорошие деньги. Я про себя честно скажу, что иногда сильно испытывал в этой самой, с позволения выразиться, душе и не такие еще позывы, и вы тоже всё это у себя найдете в большом количестве, если не станете хитрить и бесстыдно увиливать. Главное — не лицемерьте, и вы поймете, что нет у вас никакого права говорить — «он — вор», а «я — инженер», потому что никакого «я» и «он» в сущности не существует, а все мы — воры, и проститутки, и может быть еще хуже. Если вы думаете, что вы не такие, значит вам временно повезло, а в прошлом, хотя бы тысячу лет назад, мы все были такими или в будущем непременно достигнем этого

уровня, о чем нам без умолку твердят наши сладостные воспоминания и горькие предчувствия...

Впоследствии я кое-как овладел опасным искусством видеть дальше, чем это установлено нашей природой. Я научился контролировать себя, и регулировать, и иметь дело с людьми, как если бы они взаправду находились в постоянных границах своей личности и биографии» (стр. 91-92).

Но одно прозрение необыкновенно зловеще: герой видит свою Наташу с головой, раздробленной сосулькой, которая в определенный момент в скором будущем упадет с крыши здания в одном московском переулке. Рассказчик пытается избежать этого и отклоняет это видение, но оно непрерывно возобновляется при каждом взгляде на Наташу. Но до этого рокового момента еще достаточно времени и герой, анализируя себя и свои видения с удивлением устанавливает, что и он сам уже жил в прошлом под разными обличиями, как индеец, солдат, женщина. И не только это, он понимает, что в нем и сейчас живут все эти прошлые лица его перерождений:

«Несколько дней я провел дома, предаваясь этим видениям. Они были отрывочны, бессистемны, и мне никак не удавалось отделить одну мою жизнь от другой и расположить их в должном порядке, по восходящей линии. С другой стороны, отсутствие промежуточных звеньев, соединяющих смерть с рождением, также интриговало меня с научной точки зрения. Но, видно, подземные перегоны мне не дано было постичь, и потому логика всех этих превращений от меня ускользала, и я не понимал, кому понадобилось делать из меня посмешище. То индеец, то видите ли, итальянец, а то попросту невинный ребенок Метя Дятлов, скончавшийся неизвестно зачем восьми лет от роду где-то на рубеже 30-х годов 19-го столетия...» (стр. 96).

Рассказчик уходит в свое прошлое и даже однажды присутствует при своих похоронах, вернее при

похоронах одного из своих прошлых перерождений. Переживаемые в это время ощущения он пластически описывает, сравнивая их со взглядом в зеркало:

«Человек уж так устроен, что его наружность всегда кажется ему недостаточно убедительной. Глядя в зеркало мы не перестаем удивляться: неужели вон то мерзкое отражение принадлежит лично мне? не может быть! В этой невозможности отделить себя от себя есть что-то фатальное в нашей жизни, и мне, наблюдавшему однажды свои похороны и только что описавшему это явление, позволительно будет заметить, что чувство, которое я испытал тогда, лишь повторило в удесятеренных размерах наши общие переживания перед зеркалом. Это — чувство несогласия с тем, что тебя выносят куда-то во вне, в то время сидит в нас и всякий раз горячо протестует, когда его хотят уверить, будто он и есть та самая личность, которую он видит перед собой. Поднесите ему к носу сколько угодно зеркал самой лучшей конструкции. Он, сидящий в нас безвыходно и безвыездно, — глянет и замашет руками:

— Что вы, с ума сошли! Разве это я?

— А кто же тогда?

— Нет-нет, это не я, не я! — запищит он вопреки очевидности» (стр. 97).

И герой, глядясь в зеркало, неожиданно сам переживает происшедшее в далеком прошлом событие, встречу в одной из своих прошлых жизней с собой теперешним, когда он в прачеловеческом облике смотрел в кристалл, как сейчас в зеркало:

«Это был коричневый человек, маленький, пожилой, угловатый, похожий на летучую мышь со свернутыми перепонками. В качестве отражателя он пользовался какой-то стекляшкой, многогранно дробившей его фигурку, и без того достаточно ломанную. Но вот крупным планом показалась его голова, лысая, костистая, туго обтянутая темной, пропеченной кожей, и злобное изможденное личико глянуло на меня с такой пронзительностью, что я понял —

он здесь, он видит меня. Да, я видел его, а он видел меня, и мы замерли друг перед другом в испуганном изумлении, потому что он тоже вдруг заметил, что я смотрю на него и был не меньше меня поражен и перепуган. «Боже мой, неужто я был когда-то таким?!» — мелькнуло у меня в голове и далекое жгучее воспоминание коснулось моего мокрого, моего похолодевшего лба...

Пустыня. Кварц. Солнце. У меня в пальцах кристалл. Что-то будет со мною через семьдесят пять обновлений? Спрошу?.. Нельзя спрашивать! Спрошу! Никто не узнает. ...Вижу себя. Мудрая, красивая, кожаная голова... Кто — это? Кто — это? Белое, скользкое, в поту. Похож на улитку. До чего отвратителен! Какое-то мясо в тряпье. Веревка на шее. Удушенник. Выродок. Меня заметил. Глядит! Оттуда глядит!! Неужто видит? Видит, видит... Губы трясутся. И это — я, я! — таким буду?!..

И почти одновременно с ним, на его темно-коричневом фоне, я увидал в зеркале себя — таким, каким он меня увидал тогда в своем кристалле, — и память о моем тогдашнем впечатлении от моего теперешнего состояния миготом нарисовала мне его: в неммыслимом пиджачке, в галстучке, обвязанном вокруг его белой, ублюдочной головёнки... Я, кожаный, задохнулся от ненависти к тому, пиджачному и студенистому. И я бросился прочь от кристалла (от зеркала?) — по пустыне (по комнате?), и, упав на кровать (на песок?), закрыл лицо руками. Мне показалось, что он сделал то же самое со своим — я не знаю уже с каким — кожаным или студенистым? — лицом...

Так они встретились и разошлись —  
— вспомнивший о том,

**КТО** увидал,

как он вспоминает,  
и увидавший того,

**КТО** вспомнил,

как он увидал.

Между ними лежал промежуток в 5000 лет. Их было двое. А меня среди них не было...» (стр. 98-99).

И рассказчик пытается осознать новую реальность, в которой он живет. При этом у него во всем нота иронии и сомнения и читатель никогда до конца не уверен, а не шутка ли все это:

«Значит, рассуждая логически, ничто не гибнет в природе, но всё укореняется одно в другом, отпечатывается, затвердевает. Значит, и мы, люди, сохраняем в подвижном лице, в разных привычках, капризах и в капризных улыбках — затвердевшие признаки всех тех, кто жил когда-то в наших трубчатых душах, как в катакомбах, как в норах, и оставил нам на память остатки своих заселений... (стр. 106).

Удивительно, как это так наука до сих пор не открыла и не доказала вполне научно и логично — переселение душ. А примеры — на каждом шагу... (стр. 106).

Опять же сумасшедшие. Какая дальновидность прозрений! Ходит — надменный — и всем говорит: «— Я — Юлий Цезарь». И никто ему не верит. Никто не верит, а я — верю. Верю, потому что знаю: был он Юлием Цезарем. Ну, может, не самим Цезарем, но каким-нибудь другим, тоже выдающимся полководцем бывать ему приходилось. Просто немного запамятовал — кем, когда, какого рода войск... (стр. 106).

Затем, вслед за историей, мне припомнились другие предметы, какие мы изучали в школе: география, зоология... Человеческий эмбрион, говорят, претерпевает — стадии. Сперва — рыба, потом, кажется, земноводное, потом постепенно дорастает до обезьяньего сходства... Так вон оно что! И рыбам и даже лягушкам дана в моем теле некоторая возможность попрыгать, побегать, себя показать, людей посмотреть. Только — видать по всему — не досказал до конца наш старенький школьный учитель, что не какие-то отвлеченные стадии проходил мой организм в бытность глупым зародышем, по частям формируясь в родной материнской утробе. А совершенно конкретный, живой, неповторимый карась был моим близнецом и, так сказать, совместителем в эти золотые часы — тот самый,

верно, карась, что плавал в реке Амазонке 18 миллионов лет тому назад. Остальные же рыбки — каждая в отдельности — разместились в других моих современниках. Вот оно как всё получилось и образовалось... (стр. 107).

Потому что теперь я твердо знал: никто из нас не исчезает и, как сказано в одной песне, «никогда и нигде не пропадет». Просто мы переедем в другую, возможно, еще более комфортабельную квартиру... (стр. 107).

Мы разместимся внутри какого-нибудь просторного будущего гражданина. И мне думается, гражданин — не останется к нам безразличным. Он будет чутким, вежливым, передовым человеком, да и наука в те прогрессивные времена обо всем ему подробно расскажет... (стр. 107).

О вы, человек будущего! обратите на меня внимание! Не забудьте вспомнить обо мне в тот тихий летний вечер. Смотрите — я улыбаюсь вам, я улыбаюсь в вас, я улыбаюсь вами. Разве умер я, а не дышу еще в каждом трепете вашей руки?!

Вот он я! Вы думаете — меня нет? Вы думаете — я исчез навеки? Остановитесь! Умершие люди покоят в вашем теле, умершие души гудят в ваших нервах. Прислушайтесь! Так жужжат пчелы в улье, так звучат телеграфные провода, разнося вести по свету. Мы тоже были людьми, тоже плакали и смеялись. Так оглянитесь же на нас!

Не по злобе, не из зависти, а только из чувства дружбы и солидарности мне хочется предупредить вас: вы тоже умрете. И вы придете к нам, как равный к равным, и мы полетим дальше, дальше, в неведомые времена и пространства!.. Я обещаю вам это» (стр. 108).

И наконец это метафизическое познание о неуничтожаемости человеческих душ и о бесконечных метаморфозах приводит автора к неожиданному вопросу:

«Не помню, чей афоризм: «Мертвые — воскреснут!» Что же, я не спорю. Воскреснуть-то они воскреснут. Уже сейчас каждый день в родильных домах воскресает масса народу. Но помнят ли они о себе, о нас — когда воскресают? — вот вопрос! Узнаем ли мы в них, в наших беспеч-

ных детях, что в прошлые времена приходились нам женами и отцами? А ведь если никто никого не вспомнит и не узнает, значит — всё остается по-прежнему, и допустима ли такая с нашей стороны забывчивость?

Нет! Вы как хотите, а я — покуда всё не улучшится и не изменится — я остаюсь с мертвыми. Нельзя бросать человека в этакую нищету, в этакое последнее и окончательное унижении. А что может быть униженнее мертвого человека?..

...Бессовестно жить — когда другие умерли. Нечестно, несправедливо» (стр. 132-133).

Однако все эти чувства автора составляют лишь весьма небольшую часть рассказа, который развивается по всем «реалистическим» правилам, однако, как уже было сказано, в свете новой реальности, которая открылась однажды автору на обыкновенном московском бульваре.

И совсем реалистически поданы предки автора, которые живут в нем и активно участвуют в действии.

Рассказчик пытается бежать со своей Наташей от неизбежной катастрофы, от ее смерти — сосульки, которая должна упасть ей на голову — как это он предвидит, глядя на нее. Он покупает билеты на поезд и пытается бежать с ней как можно дальше от Москвы, где в одном из переулков, на одной из крыш растет сосулька, которая должна убить Наташу.

Герой уезжает вместе с Наташей вглубь России, но за ними отправляются чины службы госбезопасности, по доносу первого мужа Наташи. В поезде их настигают после неудачной попытки бегства:

«Объясняться с ней — не было времени. Я был как-то растерян, рассеян. Все мои противоречивые чувства — все дармоеды, ехавшие со мною по одному билету, — вдруг всполошились и потащили в разные стороны. Одни — вероятно, бывшие женщины — убеждали расстаться с Наташей, да поскорее, чего путаться с этой дрянью, сам спасайся, пока не поздно. Другие больше всего жалели зря

потраченных денег, которые надо вернуть через месяц. А кто-то посоветовал оказать вооруженное сопротивление.

Кто это был — я так и не понял. Степан Алексеевич со своими дворянскими замашками? индеец, ушедший под воду, не выпустив скальп изо рта? или какой-нибудь еще не опознанный неизвестный солдат, похороненный во мне рядом с трусостью и крохоборством? Милый, милый, наивный неизвестный солдат!..

Но заручившись его моральной и физической помощью, я мигом усмирил вшивую толпу подстрекателей.

«— Цыц, сволочи! всех перевешаю!» — пробормотал я сквозь зубы. И когда они смолкли и притаились — стало слышно, как стучат колеса и скрипят деревянные перегородки, заглушая скрип сапог и отдаленный говор тех, кто искал меня по всему поезду» (стр. 111-112).

Наташа возвращается в Москву, а рассказчик остается в тюрьме, где органы госбезопасности пытаются использовать его телепатические способности для раскрытия антиправительственных «заговоров». В момент, когда его задерживают, герой предупреждает Наташу, чтобы она ни в коем случае не ходила в определенный переулок Москвы в такой-то день и в час, когда должна упасть сосулька с крыши.

Но именно это предупреждение подталкивает Наташу — она идет туда и погибает.

И здесь открывается одна таинственная вещь — что как раз человеческие попытки избежать судьбы, ускоряют свершение предопределенного:

«Понял ли я тогда всю безвыходность положения? Что наши усилия не ушли далеко от хлопот обыкновенного дворника? Что мы расчищаем путь событиям и помогаем им соблюдать аккуратность?..

И как только я высказал эту мысль, точившую меня непрерывно все это время, я понял, что не должен был ее говорить. Не скажи я Наташе — ей бы, может, никогда и в голову не пришло туда ходить, а теперь я первый всё

подготовил и обозначил и уже ничего нельзя отменить и переделать... (стр. 114).

Ведь стоит заговорить или подумать о чем-нибудь, как сразу все начинается. Я давно это заметил. Быть может, мои предсказания только потому сбываются, что когда всё известно — деваться некуда, и если бы мы не знали заранее, что должно с нами случиться, ничего бы не случилось (стр. 110).

И как только я подумал об этом, мне стало ясно, что беды не миновать и она уже где-то здесь, по соседству, приготовила нам сюрприз, и что сам я об этом давно знаю, но храбрюсь и делаю вид, что все в порядке... (стр. 111).

Любая случайность — поймите — неизбежна, неотвратима, чуть стоит ее предсказать. Ведь это же все равно, что вынесение приговора. Сами знаете — трибунал — отмене не подлежит. Одних расстреляют бактериями, других — сосульками. Третьих — при попытке к бегству. Каждому — свое. Между нами говоря, мы все — приговоренные. Только не знаем ни дня, ни часа, ни подробностей исполнения. А я вот — знаю и беспокоюсь. Ах, если бы не знать! (стр. 123).

Да и моя способность всё на свете предвидеть и предугадывать, послужившая первопричиной всех наших несчастий, не была ли она тоже какой-то ошибкой?» (стр. 124).

И дар предвидения будущего никоим образом ничего не может изменить:

«Но если был я в малой мере всезнающим, то уж всемогущества мне за это нисколько не полагалось. Да и что я могу? Всё знаю и ничего не могу. И чем больше знаю, тем хуже, тем меньше у меня законных оснований что-то делать и на кого-то надеяться...» (стр. 118).

И как у Достоевского в «Преступлении и наказании», Раскольников при каждом событии осознает, что он уже наперед знал, что именно это должно было произойти, так и герой «Гололедицы» все знает наперед:

«Но меня не покидало чувство, что стоит моей балерине поравняться с фонарным столбом, вон с тем, с третьим по

счета, к которому она приближалась, как с ней случится несчастье. А именно: мне казалось, что старуха должна поскользнуться на том самом месте, которое я предугадывал, и я даже подумал, не дать ли ей об этом сигнал, но из любопытства сдержался и, затаив дыхание, следил за ее движением. И когда она, добредя до предугаданной точки, свалилась как по приказу, взмахнув короткими ручками, я почувствовал в глубине души что-то вроде угрызений совести, как если бы сам подтолкнул ее на скользком месте (стр. 82).

...Он сунул мой паспорт в свой нагрудный карман и протянул бумагу, которую я не стал читать. Мне чудилось, что всё это уже бывало со мною и даже бурки Сысоева, отличные офицерские бурки, мне где-то раньше попадались. Никогда не видал я ни Сысоева, ни его беленьких бурок, а просто мог бы про всё сказать: так я и знал! так оно всё и представлялось мне с самого начала!» (стр. 113).

Рассказ заканчивается тем, что после гибели Наташи рассказчик опять теряет силу провидения во времени и становится нормальным человеком, хотя и с некоторыми нездоровыми последствиями:

«Причина моей болезни коренилась в неуверенности. Я боялся передвигать ноги: вдруг поскользнусь. Мне, приученному все знать заранее, было нелегко вернуться к нормальной жизни, полной неожиданностей. Подойдет, бывало, доктор в колпаке, а у меня пульс подскакивает при одном приближении. Ведь ничего же не известно: вдруг этот доктор вместо пульса даст по морде? Кто знает, что у него на уме» (стр. 130).

И однажды в одном московском переулке рассказчик встречает маленького мальчика в сопровождении няни. Рассказчик уверен, что это его отец:

«Но его голубые глазки говорили о большем. Та же самая голубая насмешливая глубина, что склонялась надо мной во дни младенчества. Мудрый взгляд старшего друга, знающего цену вещам. Мне даже показалось, что он подмигивает.

— Папочка! — зашептал я, чтобы нянька не слышала.

— Милый папочка! Как ты поживаешь? Хорошо ли тебе в твоих новых условиях?..» (стр. 131).

Рассказы Терца необыкновенно трудно пересказывать, до такой степени они богаты действием, но это необходимо делать до тех пор, пока с Терцем не познакомились широкие читательские круги. Повторяю, Терц не философ, а художник и его мир — не мир философско-рациональный, а художественно-пережитый и истолкованный. Посмотрим, как он описывает движение героя назад, в прошлое, когда события в сознании героя разыгрываются обратным порядком, как на фильмовой ленте, пущенной задним ходом:

«Глухарь замертво скатился с березы, словно его дернули за веревку. Я спустил курок и, прицелившись, вижу, что он сидит на суку, здоровенный черный петух, и глядит на Диану. Мы слезли с коней и поскакали. — «Ни пера, ни пуха», — Катенька в розовом капоте машет ручкой с веранды. Прыгнув в седло, я сбегаю с крыльца и натягиваю сапоги. — «Пора, барин, вставать, скоро светает», — кричит мне в ухо Никифор. Мои руки обняли его тугие икры:

— «Не покидай нас ради Бога, ради сына твоего умоляю...». Он смотрит в сторону, бледный от злости: — «Сударыня, нас могут заметить». Я взял скальп в зубы и поплыл. На середине реки мне сделалось дурно. Не разжимая рта, я погружаюсь...

— ...Скажи, Василий, кто такой Пушкин? — спрашивает меня жена за обедом.

— А это, милочка, один такой древне-русский писатель. Пятьсот лет тому назад его расстреляли.

— А кто такой Болдырев?

— Это, милочка, тоже один великий писатель. Автор пьесы «Впотьмах» и многих стихотворений. Двести лет назад его расстреляли.

— И все-то ты знаешь, Василий, — говорит жена и вздыхает.

Я стреляю из пушки, я стреляю из арбалета, я стреляю из катапульты. Они бегут. Мы бежим, бежим и вбегаем в город.

— Пойдем в подвал, — говорит Бернардо. — Есть одна девушка. К сожалению, уже умерла, но еще не закончена» (стр. 94-95).

## ОБЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ

До сих пор мы пытались в кратких чертах представить творчество Абрама Терца, — до такой степени оригинальное, что говорить об этом писателе кому-то, кто хотя-бы немного не знаком с его творчеством, настолько же бессмысленно, как говорить о Моцарте тому, кто не слышал его музыки.

Трудно переоценить значение такого явления, как Терц. Здесь мы уже сталкиваемся не с вопросами сталинизма, социализма или какой бы то ни было социально-исторической проблематики. Нет, дело идет о большем. Терц всем своим существом восстает против всей той эпохи, которая началась с Возрождения и этим самым становится в один ряд с такими именами, как Паскаль, Киркегор, Достоевский, Шестов.

И хотя он против так называемого «научного социализма», — но только потому, что именно в этом отрезке жизни человечества, который начался в России 1917 годом, до крайних пределов доходит власть «мгновенной реальности» над человеческими душами. Власть смерти над человеком.

То же самое, что делают Киркегор и Шестов в своих философских трудах, Достоевский и Терц делают при помощи искусства — разрушают власть очевидного, догмат реальности и этим самым освобождают человека из под власти мгновения. В этом смысле конфликт между Достоевским, Терцем, Кирке-

гором, Шестовым с одной стороны и Сипинозой, Гегелем, Марксом, Ленином с другой, — несравнимо более заострен и неперемостим, чем конфликт любого антисталинца с советским режимом. Терц восстает против духа той догмы, которая сковала человеческие души и которая на современном языке называется **н а у ч н о е п о з н а н и е**.

В этом смысле Терц поистине человек нового эона, в то время как Ленин — последний великий человек предыдущей эпохи. И Октябрьская революция не последняя, после которой наступает «новая эпоха», а только лишь одна из первых в ряду грядущих революций.

Симптоматично, что такие люди, как Терц и Орвелл, появляются как раз в то время, когда наука переживает свои величайшие моменты, в эпоху космических полетов. Терц не анаучен, он **а н т и н а у ч е н**, поскольку под наукой подразумевается современная догма об абсолютной реальности мгновенной видимости. Потому что такая научная догма укрепляет убеждение в том, что этот видимый и поддающийся измерению при помощи технической аппаратуры мир — есть единственная и конечная реальность, вне которой не существует никакой другой, что задача человека — как можно лучше прожить в этой единственно существующей реальности: облегчить жизнь, продлить человеческий век, «овладеть природой» и даже, если это возможно, обесмертить человека на этом свете.

Но достаточно поставить под вопрос «неопровержимую истину» о том, что этот мир — единственный, что реальность, в которой мы живем — окончательная, что человеческая душа умирает вместе с телом, — как все значение науки в той форме, в которой она сейчас существует, становится сомнительным и беспредметным.

Зачем при помощи медицины продлевать век человека, если он вообще не смертен?

Зачем научно осваивать природу, если она только мгновенное явление во времени, а не окончательная реальность? Зачем строить земной рай, если жизнь на земле — только преходящее мгновение?

Именно здесь корень на первый взгляд непримиримых и непреодолимых противоречий между людьми терцова духа и духа научного. И само собою разумеется, что Терц для марксизма — несоизмеримо больший враг, чем любая из идей капиталистического мира.

Факт, что такие люди начинают появляться, подтверждает, между прочим, предсказания Шпенглера:

«Если предположить, что для наиболее одаренных людей будущих поколений спасение души будет ближе и дороже, чем вся сила этого мира, что именно наиболее одаренные души будут все больше и больше охватывать ощущение с а т а н и з м а машин — под впечатлением метафизики и мистики, которые сейчас сменяют рационализм (это шаг от Роджера Бекона к Бернарду де Клеве) — тогда ничто не сможет предотвратить конца этого большого зрелища, которое только пляска духов, пляска, в которой руки смеют только помогать».<sup>3)</sup>

Ясно одно: Терц первая ласточка в мире социализма из поколения, выросшего при «новых общественных отношениях».

И ясно еще одно: рождается новое поколение, созданное непосредственно «научным духом» социализма, которое пошлет к дьяволу и Гегеля, и Маркса, и науку и технику, и социализм — в том виде, в котором они себя сегодня проявляют. И это поколение рождается именно на Востоке, а не на Западе.

## РЕТОРТА

«Забывается, что критическая активность должна базироваться на методе, который найден только условно и тоже только критическим путем, а в самой сути она исходит только из определенной настроенности мышления, так что результат критики определяется методом, лежащим в ее основе, а он в свою очередь определяется течением бытия, которое движет и призывает чуткое, сознательное существо. Вера в знание, не имеющее предпосылки, характеризует только громадную наивность периода рационализма. Теория науки о природе ничто иное, как догмат, исторически ей предшествующий — только в другом виде». <sup>4)</sup>

Освальд Шпенглер

«...у гениальных отцов рождаются дети идиоты... Алхимики искали философского камня... астрологи гадали по звездам... таким образом родились на свет химия и астрономия». <sup>5)</sup>

Лев Шестов

В наиболее популярном советском журнале «Новый мир» (№ 3 за 1965 год) напечатана большая и очень интересная статья Генриха Волкова «Человек и будущее науки». Автор описывает будущее человечества, как он его замышляет:

«... в науке будет занято все население земного шара (выделено в оригинале) ...каждый сможет так или иначе обслуживать сферу науки:

...наука претендует на положение господствующей

щей, если не всеобъемлющей сферы человеческой деятельности» (стр. 196).

Еще конкретнее замышляет будущее академик Н. Н. Семенов, на которого ссылается Генрих Волков, и говорит что ему

«...будущее науки представляется в виде повсеместно существующих народных лабораторий, где население предается свободным научным изысканиям» (стр. 196).

Здесь ясно выражена суть «научного духа». Наука, познание жизни — не средство, а исключительно самоцель. Одним словом, познание есть цель жизни, а жизнь только средство познания. Познание, то есть власть над жизнью, вернее над той частью реальности, которая видима и измеряется аппаратами. Наука отрицает существование другой реальности, потому что рацию, сознание, стеклянная реторта, — как выразился Гёте во второй части «Фауста» — не пропускает лучей других миров к человеку, так как вопрос — существует или не существует бессмертие души, есть другие миры, или их нет, другие реальности вне этой, нашей, не определяется опытом, а разумом, законами разума, которые только формально базируются на видимой реальности. Если умирает человеческое тело — исчезает все, что в человеческом существе осязаемо и видимо — значит смерть это конец, потому что никакой души нет. Поэтому только и существует этот видимый, «реальный», материальный мир. Власть над ним (познание его) возможна, поэтому он и должен быть единственным и вечным... «материя неуничтожаема и вечна». Как пишет русский философ Левицкий:

«Так, отрицание Абсолютного мстит за себя абсолютизацией относительного».⁹)

Наука это жизнь перед судом разума — писал Лев Шестов. Разум, познание, стеклянная реторта ставятся выше жизни. Но замкнутый и конечный мир, а только такой мир знает наука, хотим мы этого или не хотим, — есть и не может быть ничем

иным, как только безвыходной темницей, как бы ни усовершенствовали ее техническими научными средствами как бы ни пытались сделать её более удобной, а все мы только заключенные, которых кто-то судит, заранее осужденные на смерть.

Но где же критерий, гарантирующий, что этот мир — единственно существующий и что душа умирает вместе с телом, что душа вообще существует? Опыт? Нет. Опыт мертвого человека нам неизвестен, а личный опыт бесчисленного количества живых людей в истории, — мистика, — утверждает как раз обратное, — что наш мир не единственно существующий.

В том-то и дело, что вся наука базируется на догме, на априорной вере в конечную, единственную и безвыходную реальность этого мира.

И так любой догматизм — научное сознание упорно борется против любого сомнения в его абсолютную непогрешимость и всевозможными способами пытается увековечить темницу «реального, материального мира». А это возможно только в том случае, если целью человеческой жизни на земле объявить — познание жизни. Ответить на вопрос: а почему именно познание жизни должно быть целью — наука не может. Это априорная предпосылка. Обычный ответ — потому что познание дает власть над природой, а этим самым и свободу человеку. Однако это ложь и обольщение наивных. Никогда подлинный научный дух не согласится с тем, что наука, познание — только средство для более свободной, лучшей жизни. В таком случае наука становилась бы чем-то второразрядным, как, например, ремесло. Сапожники делают сапоги — чтобы у человека не мерзли ноги; наука производит другие ценности и служит свободе человека. Но мы только-что слышали, что в будущем, в «народных лабораториях» человек будет служить науке. Значит человек — средство, а наука, познание, власть — цель.

Вот здесь и вся суть конфликта между религией, как верой в то, что земная жизнь не единственная и что душа бессмертна, а «законы» природы преодолимы и не вечны, и наукой, которая именно для того, чтобы оставаться абсолютной целью, должна преследовать любое сомнение в том, что этот мир единственный и конечный, что он последняя реальность, после которой наступает смерть.

В тот момент, когда наука признала бы возможность бессмертия души, возможность существования других миров, возможность, что вся реальность, познанием которой наука занимается, за власть над которой борется — только временная видимость, и что существует Бог, личный Бог, который в состоянии вмешиваться в нашу жизнь и даже по своей собственной свободной воле может менять законы природы, — в тот самый момент вся наука, все познание, вместе с Эйнштейном, Марксом и Фрейдом, вместо хозяйки жизни оказалась бы в роли служанки.

Вот этого-то наука и не хочет допустить и в этом, только в этом суть спора между религией и наукой. Наука, как цель жизни и наука, как средство, — средство, которое в тот момент, когда оно перестанет служить человеку, может быть выброшено, как старая тряпка!

Между наукой, как средством, как ремеслом (да, да — даже Эйнштейн только высококвалифицированный «сапожник») и религией, то есть непосредственной связью между индивидуальной человеческой душой и бессмертной жизнью, абсолютной свободой, Богом — нет конфликта. Когда холодно, мы надеваем сапоги, — но не сапоги цель и смысл жизни.

Но между наукой, — познанием «законов природы», властью над жизнью и религией, то есть вечной жизнью, не знающей законов природы — непримиримый конфликт.

Если она только средство, то наука, познание, мо-

жет быть в любой момент отброшена. Нам больше не холодно — снимаем зимние сапоги; не интересуется больше строение атома — отбрасываем науку.

И именно для того, чтобы этого не произошло, наука, познание, вернее же люди, которые ей служат, — должны непримиримо преследовать каждую мысль о том, что этот мир не конечен, что человек бессмертное и свободное существо, свободное даже и от законов природы.

Для того, чтобы остаться вечно господствующей над человеческими душами в этом мире, для того, чтобы ее когда-то не отбросили вместе с остальными предметами, которые обслуживают хозяйство, — наука, разум должны быть догматическими в утверждении, что человек безоговорочно смертен, что этот мир — безвыходная темница и самое большое, чего может достичь человек, — власти над этим замкнутым миром. А власть над жизнью дается познанием, то есть служением науке, разуму. Значит, покорись, чтобы овладеть миром.

В таком смысле каждая наука, как самоцель — тоталитарна и несомненно существует близкая связь между тоталитаризмом общественным и духом науки.

Темницу материальной реальности наука увековечивает и этим преграждает человеку путь к свободе. И чем больше познание становится целью жизни, чем больше человек должен служить познанию — тем больше он превращается в раба.

Проекция этой мысли отражена в тоталитарных обществах, где индивидуум должен служить обществу, а секретные службы, тотальный досмотр и вся остальная специфика современного тоталитаризма, до конца раскрытая Орвеллом в «1984» — только средства удержания власти над индивидуальными человеческими душами, потому что если допустить возможность что сама наука, само общество — есть только и исключительно средство служения свободе, индивиду-

альной человеческой душе, как конечной, бессмертной и последней реальности, то власть науки над жизнью, власть над человеческими душами — падает.

А власть — познание — наука — *ratio*, или на древнем языке диавол, смерть, небытие, — хочет вечно удержаться с помощью людей, которые ей служат и которые, как все рабы, — самые жестокие палачи.

И поэтому для науки так важно сохранить догмат о познании как цели жизни. И потому эти призраки «народных лабораторий», где все человечество служит науке.

Вечным остаются: власть, наука, разум. А индивидуальные человеческие души? Они, естественно, умирают, они смертны. Их даже и вовсе не существует, они видимость. Потому что если бы не было так — стали бы смертными и власть и наука.

Вот, где этот непримиримый конфликт.

Человеческие души смертны — каждый из нас осужденный. А наука, разум, власть — они будут вечно! Цель науки — наука, а не освобождение человека. Или как это сказал Орвелл:

«Власть не средство, она — цель. Не диктатуры создаются для защиты революции, а, наоборот, революции совершаются для установления диктатуры. Цель гонения — гонение. Цель пыток — пытки. Цель власти — власть...

Угодно ли вам видеть образ будущего? Вот он: сапог, наступивший на лицо человека. Навеки наступивший!»<sup>7)</sup>

Вот это «Процесс» Кафки над человеческой душой, это «Суд идет» Терца, это кошмар, который хочет увековечить догмат о единственной реальности этого мира. И если истина то, о чем твердит разум, что реален только этот мир, что человек смертен, что законы природы непреоборимы, и что Христос не воскрес — тогда мы все уже с самого начала мертвецы, как главные герои орвелловского «1984».

Даже и в том случае мертвецы, если бы «всемирный социальный рай» был осуществлен, потому-что ме-

тафизическая трагедия человека неразрешима в социально-экономическом плане до тех пор, пока существует смерть. И именно из-за космической, а не социальной безвыходности, которую разум пытается увековечить, Иван Карамазов «возвращает Богу билет», а Терц пишет:

«Нет! Вы как хотите, а я — покуда всё не улучшится и не изменится — я остаюсь с мертвыми. Нельзя бросать человека в этакой нищете, в таком последнем и окончательном унижении. А что может быть униженнее мертвого человека?.. Бессовестно жить — когда другие умерли. Нечестно, несправедливо» (стр. 133).

Терц, как когда-то Мармеладов в «Преступлении и наказании» говорит — «нельзя оставить человека в такой беде».

И Иван Карамазов был совершенно прав, что конечная истина о жизни и смерти в руках разума и науки, — то-есть, что человек на самом деле умирает и навечно остается в беде, как того желает наука.

И весь бунт Ивана Карамазова исчезает, если допустить, что правду говорит не наш разум, а Алеша Карамазов, который утверждает, что все мертвые воскреснут и будут весело и радостно рассказывать друг другу о событиях в прошлой жизни.

Борьба ведется вокруг вопроса, — что выше и ценнее — индивидуальная человеческая душа или сознание, наука, и кто кому должен служить. Если человек должен служить науке, сознанию и если разум, то есть  $2 \times 2 = 4$ , бессмертен, а человек смертен, то смерть владеет миром, смерть победила. Если же бессмертна человеческая душа, а разум, познание, наука — переходящи и смертны, то  $2 \times 2 = 4$  не вечно, может быть уже завтра будет  $2 \times 2 = 20$ , — тогда существует вечная жизнь и этот мир больше не безысходная темница, реальность и очевидность «Процесса» проходящее и победимое явление и власть над реальным миром — цен-

ность второго разряда, не многим большая, чем ценность ремесленных произведений.

Борьба, которую начинает Терц становясь на сторону Достоевского и Шестова, именно поэтому имеет гораздо большее значение, чем любой антисталинский и антикоммунистический бунт. Это борьба со смертью, со смертью космической, универсальной.

## О БУДУЩЕМ «НАУЧНОМ РАЕ»

«Пытаются смерть отождествить с рождением. Возможно. Но отчего, например, рождение не отождествить со смертью? Когда родился человек — он в сущности умер; утроба матери — могила, уже зачатие меня — переход в смерть».<sup>6)</sup>

Василий Розанов

Наука, хочет она этого или нет, стоит на точке зрения, что вся природа, вся жизнь — только прекрасно организованный механизм.

Потому что в противном случае нельзя было бы познавать «законы» природы и невозможно было бы «господствовать» над жизнью. Если допустить, что жизнь от наивысших до наинизших ее проявлений — организм, а не механизм, то-есть, и самое слабое проявление жизни ни что другое как именно свободное (а не построенное на законе) стремление к сути, что в самой природной реальности никаких законов и не существует, а что суть это свобода, а отсутствие свободы (т. е. законность) — смерть, и что в движении механизма не больше свободы, чем в неподвижном камне, и что и механизм — смерть, вся наука, разум, логика (Шестов: «Логика есть отражение законов инерции»<sup>6)</sup>) — становится не только сомнительными ценностями, а просто отрицательными, потому что они ослепляют человека и меша-

ют ему соприкоснуться с подлинной, живой, самой реальной реальностью — жизненной свободой. Каждое познание, наука, разум, вместо свободной, безграничной реальности, в которой отсутствует смерть — создают свой собственный мир, конечный, смертный, со своими собственными, на первый взгляд заимствованными от природы законами — шизофренический мир вечного механизма.

Каждая наука по сути вавилонская башня, потому что вместо бессмертной и свободной «данной» жизни создает смертную, конечную, заданную жизнь по «законам развития». Вместо творчества, которое всегда свободно, которое — порыв к центру бытия — приходит труд; вместо любви, которая всегда дана, потому что человек не может ни полюбить, ни перестать любить по своей воле («браки сочетаются на небесах») — институция брака, научный рациональный выбор «партнера» и сексуальное воспитание.

И вот мы приходим к миру, до крайних пределов организованному, где достигнута высокая степень научного развития — кибернетика, генетика, математика, семантика, лингвистика и т. д. и т. д. — и где все люди служат науке в «народных лабораториях» и всю свою жизнь «свободно» познают Вселенную («владеют» ею).

Достигнуто полное душевное спокойствие и физическое здоровье, все автоматизировано, из жизни исключены все опасности, страдания, трагедий нет. Есть только глухое гудение планеты, которая днем и ночью работает. Совершенное движение механизма. Мир, в котором возможно от рождения знать и вычислить каждый шаг и изгнать из жизни все неизвестное и страшное. Власть над жизнью полная. Наступил рай на земле.

Освобожденный от болезней, природных катастроф, бедности, изнуряющего труда и эксплуатации человек может посвятить себя науке, искусству, облагораживанию жизни.

И как раз посреди картины такого земного рая Достоевский и увидел странную и страшную личность с «ретроградной физиономией», которая, сунув руки в карманы, нахально взглянула на совершенный мир и дерзко заявила: А что, если мы все это пошлем к черту?, — а на вопрос — почему? — ответил: «для того, чтобы по своей глупой воле пожить». С неприкрытым удовольствием и радостью Достоевский пишет («Записки из подполья»), что у этого субъекта с «ретроградной физиономией» наверное будет немало последователей и что они в конце концов пошлют к дьяволу земной рай.

Апологетов земного «научного рая», конечно, возмущает сама мысль о возможности появления такого человека с «ретроградной физиономией». Во-первых, — говорят они, — такое явление абсурдно, так как именно в «научном раю» человек сможет заниматься всем, чем пожелает, потому что высокоразвитая техника и автоматизация освободят его от работы ради насущного хлеба. Во-вторых, — в те времена будут существовать весьма действенные, построенные на научной базе средства «убеждения», конечно принудительного порядка, убеждения, что этот мир — наилучший из возможных. И это, думаю, существенно. Именно поэтому общества, созданные на «научных основах», как, например, «научный социализм», должны быть полицейско-тоталитарными. Потому что власть над природой невозможно удержать, не имея одновременно власти над «человеческой природой» (то есть — душой) — столь недисциплинированной и капризной.

«Если моя теория не подтверждается фактами — тем хуже для фактов» — говорил величайший из идеологов тоталитаризма — Гегель.

И как каждая наука есть шпионаж за природой и жизнью, так и в каждом тоталитарном (научном) обществе основа, без которой невозможно сохранить это общество, — тайная полиция и шпионаж.

Последнее слово техники — «телескрин» Орвелла

— аппарат, который все видит, слышит и передает в полицейский центр, «мыслескоп» в «Суд идет» Терца, о котором мечтают два полицейских агента-близнеца, таинственных потому, что они в том же облике появляются и в «Пруде» Алексея Ремизова и в «Процессе» Франца Кафки, и которые в романе Терца шагают по пустынным московским улицам — в тишине (вспомним символическое название романа Ю. Бондарева «Тишина»):

«Тишина! Двое в штатском ходят по городу. Двое в штатском. Медленно, степенно шествуют они по заснувшим улицам, заглядывают в помертвевшие окна, подворотни, подъезды. Ни души.

Одного зовут Витя, а другого Толя. И мне боязно».

«Суд идет». (Стр. 190)

Одним словом — способы «убеждения» обязательно будут существовать — несмотря на то, что «у человека не будет никаких причин для недовольства чем бы то ни было».

Он не должен будет работать, он не будет ощущать материального оскудения, не будет ощущать боли, женщины будут рожать без боли или вообще не будут рожать, потому что будет изобретен способ выращивания зародыша в лабораториях на научной базе, следовательно, человек будет тотально свободен. Правда — будет немного скучно, потому что не все люди находят удовольствие в писании картин, посещении музеев, слушании концертов, научных трудах в «народных лабораториях», исследовании космоса. Но наука — как уверяют — разрешит и вопрос скуки. Конечно — научным путем. Необыкновенная, прекрасная перспектива.

А что, если человек захочет трудиться? Не для времяпровождения, а для того, чтобы совершать труд, на который он был послан тогда, когда был изгнан из рая — труд творческий, труд, от которого зависит жизнь, труд «в поте лица своего» ради хлеба насущного и рождения в муках. Вот этого — этого ему не разре-

шат. Будут существовать средства убеждения или же места на земле, где каждый сможет производить любую работу, но единственно и исключительно для времяпровождения, потому что все и так уже производится машинами.

И никому не приходит в голову, что принудительная праздность (признаки которой уже появляются в высокотехнически развитом обществе) настолько же ужасна, как и принудительный труд в концлагерях — и что это только две стороны одной и той же медали. Невелика разница между трудом и праздностью. Велика разница между насильственным трудом и насильственной праздностью, с одной стороны, и свободным трудом, с другой, — творческим именно потому, что он свободен (а не потому, что происходит в области искусства или науки). Разница между работой (рабством) и творчеством (свободой) не в том, что человек делает — рисует, играет на скрипке, копает канал, пашет землю — или вообще ничего не делает, а в том, происходит ли всё это по его свободному желанию, без какого бы то ни было насилия, внешнего или внутреннего (волевого), — подлинное ли то, что он делает или нет. Так же брак по любви («заключенный на небе») отличается от брака без любви (который тем самым — проституция) не тем, что в одном случае супруги спят вместе, а в другом от этого «освобождены», — а в том, что первый — хотя по внешним формам своим не отличается от другого — свобода, счастье и творчество, а второй — рабство.

Образно говоря, наука стоит на точке зрения, что любой брак — брак без любви и что в связи с этим человека следует освободить от брака, — от рабства, эксплуатации, физических страданий. Освободить супругов, которые не любят друг друга от необходимости спать вместе, женщину — от родовых мук. Однако освобожденные люди не будут намного счастливее, чем поработанные — им останутся лишь любительские занятия в «народных лабораториях».

Потому что счастье, свобода, жизнь — они в браке по любви, где родовые муки превращаются в счастье, от которого не будет отказываться любящая женщина, где супружеская жизнь не рабство, а высшая радость. И поэтому в подлинной жизни смешно даже поднимать вопрос о занятиях в «народных лабораториях» и о том, что вопрос скуки будет разрешен научным путем. Какая там скука? Все — счастье, бесконечная жизнь.

Но поскольку наука, разум, не может дать любви, не может познать «законы любви», потому что любовь дана и человек ее не может производить, какой совершенной наукой и техникой он ни обладал бы, — а наука, несмотря на это претендует на тотальное владение над жизнью, — она вынуждена заявить, что счастье именно и состоит в освобождении от брачной жизни, в освобождении от какой бы то ни было работы, за исключением одной, получившей характерное название «хобби» (одна из «научных» попыток разрешения вопроса скуки).

И потому, что он не может создать подлинную жизнь, которая всегда дана, — дух науки хочет усовершенствовать темницу неподлинной жизни, снабдить ее материальным комфортом, освободить человека от физических страданий, мук, страха, опасности, то есть вместо этого плохого, опасного, изменчивого и несовершенного мира построить свой — новый, научный, неизменяемый, вечный.

Между тем так же, как счастливы женщины, которые живут подлинной жизнью и не пытаются заниматься общественно-научной деятельностью, так и любой человек, который живет подлинной жизнью, свободно творит в труде и поте лица своего — даже и не помышляет о том, чтобы «освободиться» от своего удела. Для любящей женщины «освобождение» от брака с любимым человеком было бы самой большой трагедией; для свободного творца машина, которая переняла бы его

труд означала бы духовную смерть. Но поскольку именно существование хотя бы одной творческой работы, хотя бы одной подлинной любви, ставит под сомнение всю искусственно созданную научно-техническую вавилонскую башню мира, потому что показывает, что все, что есть наиболее ценного — дано нам, причем дано безвозмездно, в то время как при помощи разума и науки удается создавать только второстепенные ценности. При этом дух науки, тоталитарное общество, ради поддержания одного лишь своего существования вынуждено преследовать все живое, свободное и подлинное. Именно это с гениальной убедительностью показал Джордж Орвелл в «1984».

Это путь научно-социального прогресса. Наука не может создать органической жизни, органического общества, в котором все его члены жили бы подлинной жизнью. Наука не освобождает и не может освободить человека от физической смерти, но зато она освобождает людей от самой жизни.

Значит, вместо того, чтобы отбросить неподлинность, — ее умножают в геометрической прогрессии. И как бы это парадоксально ни звучало — научный мир, Вавилонская башня уходит корнями в церковную традицию. Мир это труп — необходимо создать свой, лучший мир, запереться в монастырь. Брак может быть порочным — следует освободиться от любого брака... целибат. Природа несовершенна — нужно ее усовершенствовать, научно ею овладеть. Не случайно первые зачатки науки появились в средневековых монастырях.

Один лишь Достоевский в своем гениальном Великом Инквизиторе открыл, что «научный социализм» — дитя церковной традиции и что конфликт христианских и других церквей с социализмом и наукой — плод сплошного недоразумения и что — «научный социализм» и христианская церковь рано или поздно образуют единую организацию.

Конечно, мы не смеем идентифицировать общественно-историческую организацию церкви с подлинным учением Христа. Потому что, как говорит Шпенглер, церковь образовалась тогда, «когда учение Христа превратилось в учение о Христе». То есть уже в первом поколении христиан.

Но если даже мы предположим, что научно преобразованный мир на самом деле будет представлять собой какой-то вид земного рая, вопрос смерти остается. Если рано или поздно, — пусть даже через десять тысяч лет, — жизнь индивидуума все же уничтожается, то этот мир все равно безысходная темница.

С адвокатом Карлинским в терцевом «Суд идет» происходит следующее:

«Юрий не мог заснуть. Последнее время, по ночам, с ним бывало такое: вдруг он вспоминал, что должен умереть, и начинал бояться...» (стр. 154).

«Был только один выход — самообман. К нему прибегают люди, отвлекая себя чем угодно от этой — сводящей с ума — пустоты. Кто занят политикой, как медведь Глобов...» (стр. 155).

Страх смерти рождает потребность самообмана. Самое парадоксальное во всем этом то, что вера в бессмертие души, которая освобождает от страха смерти и этим открывает вход и в этот, конечный, мир, — она, согласно «последним открытиям современной науки» — «самообман», опиум и т. д. А вера в то, что эта жизнь конечна, бесповоротно конечна, что существует смерть и поэтому жизнь в этом мире следует прожить как можно безболезненнее (обязательно решив вопрос скуки — например, при помощи политической активности, «научного познания») — это истина!

Но так как наука даже после бесконечного прогресса не в состоянии освободить человека, как индивидуума, от смерти, — она освобождает его от жизни, потому что жизнь страшна, неизвестна, болезненна. Освободить мир

от ужасов неизвестного, от боли, освободить мир от чуда и тайны — в этом задача науки. Но жизнь в мире, где все известно, в мире без чуда и тайны, в «механизме природы» — это и есть духовная смерть. Ничего нового нет в этом мире, если дело идет о познании, о разуме, науке, то есть о том, что для всех общее. Познание о боли все то же, как и десять тысяч лет тому назад. Познание любви вечно и осталось без значительных перемен от «Песни песней» до сегодняшнего дня. Понятие — боль, понятие — любовь, то есть слова, мысли,  $2 \times 2 = 4$  — вечны. И все-таки каждая моя индивидуальная боль, моя рана — это бесконечно новое, хотя до сегодняшнего дня миллиарды получали болезненные раны. Моя любовь тоже бесконечно нова, хотя миллиарды любили до меня. А познание о любви, познание о боли всегда одно и то же.

Пусть бы даже науке удалось освободить человека от физической смерти — что бы произошло? Это было бы возможно только в мире без чуда, до конца познанным, в мире безо всяких неожиданностей — тотально механизированном и подчиненном «законам». И на это отвечает Николай Бердяев.

«Ужасна была бы бесконечная жизнь в этом греховном и злом природном мире, в этой плоти. Такая жизнь была бы духовной смертью».<sup>10)</sup>

Автор этого сочинения не выступает против материальных ценностей, являющихся следствием научных изобретений и борьбы за счастье человека. Автор считает, что научный прогресс создает определенные, правда ограниченные, ценности (хотя и не в том смысле, как это понимает наука); автор считает, что человек несомненно должен бороться за свое счастье на этой земле и даже полностью соглашается с Львом Шестовым, что «Несчастливых людей нет, все несчастные — свиньи».<sup>11)</sup>

Даже более того, — автор считает, что спасают себя для вечности только те, кто в этой жизни был счастлив

и полностью соглашается с Киркегором, что «рыцарь веры настоящий счастливец, который владеет всем конечным, а не только вечным». <sup>12)</sup>

И согласен с Бердяевым, который считает, что «Царство Божие не от мира сего, Царство Божие не есть природное царство и оно не может осуществиться в границах этого природного мира, в котором возможны лишь символы миров иных. И вместе с тем Царство Божие осуществляется в каждом мгновении жизни». <sup>13)</sup>

Но именно поэтому автор выступает на стороне Терца, так как видит, что решение вопроса человеческого счастья или несчастья не лежит в сфере науки и познания, технизации и автоматизации, а как раз наоборот — они делают его невозможным. Автор согласен с Бердяевым, что

«Тайна не есть отрицательная категория, не есть граница. Тайна есть положительная бесконечная полнота и глубина жизни». <sup>14)</sup>

И что

«Свободная жизнь есть самая трудная жизнь, легкая же жизнь есть жизнь в необходимости и принуждении. Свобода порождает страдание и трагедию. Отречение от свободы порождает кажущееся облегчение страданий и трагизма жизни». <sup>15)</sup>

И что именно поэтому все усилия «духа науки» ведут к предельной несвободе человека, смерти и в этом мире и в вечности.

## ОПРАВДАНИЕ НАУКИ

И несмотря на все, — именно отнимая жизнь, уничтожая свободу и создавая механизм, — наука и так называемый «научный социализм» выполняют свою миссию. Конечно, ее результаты не будут соответствовать целям, которые ставят себе наука и социализм, но от

этого ничего не меняется в том, что каким-то образом наука и разум участвуют в осуществлении вечной жизни для человека, конечно, в определенном смысле. Как писал Бердяев —

«Революции имеют и добрые последствия, после них начинается новая эра, но добро рождается тут не из революционной энергии, а из пореволюционной энергии, образовавшейся в результате осмысливания опыта революции. Зло преодолимо лишь изнутри и духовно».<sup>16)</sup>

«Всякий опыт обогащает, хотя бы обогащение было отрицанием этого опыта».<sup>17)</sup>

«Прохождение через опыт может быть очищением человеческой идеи о Боге, освобождением от скверного социоморфизма».<sup>18)</sup>

Явление Терца, Пастернака, Солженицына (вспомним его недавно опубликованные исполненные религиозного духа короткие рассказы) — это именно и доказывает.

В этом смысле мы могли бы сказать, что Спиноза, Гегель, Маркс и Ленин выполняли Божью миссию. Об этом говорит и их горячая вера в свою избранность. Она же говорит о том, что их предками были фарисеи. У рационалиста Гегеля была бесконечная вера в разум, а одновременно Киркегор, его противник, признавал, что он не «витязь веры», что у него нет смелости верить («все знаю и ничего не могу»).

Задача Гегеля, Маркса, Ленина именно и состояла в том, что они отозвались на Божий призыв: «Иди и ослепи этот народ, пусть смотрит и не видит, слушает и не слышит». Они, именно они, потому что сильнее всего верили, — пошли и ослепили мир. И они спасены, потому что верили в то, что делают и были счастливы, что им удалось осуществить то, что они хотели. Еще в начале этого столетия Лев Шестов иносказательно прекрасно показал отношение, существующее между людьми, посвятившими себя «перемене и построению этого реального мира и жизни» и жизни вечной:

«Гусеница обращается в куколку и долгое время живет в теплом и покойном мире. Если бы она обладала человеческим сознанием, может быть, она сказала бы, что ее мир есть лучший из миров, даже единственно возможный. Но приходит время, и какая-то неведомая сила заставляет ее начать работу разрушения. Если бы другие гусеницы могли видеть, каким ужасным делом она занимается, они, наверное, возмутились бы до глубины души, назвали бы ее безнравственной, безбожной, заговорили бы о пессимизме, скептицизме и т. п. вещах. Уничтожить то, созидание чего стоило стольких трудов! И, затем, чем плох этот теплый, уютный, законченный мир? Чтобы отстоять его, необходимо выдумать священную мораль и идеалистическую теорию познания! А до того, что у гусеницы выросли крылья, и что она, прогрызши свое старое гнездо, вылетит в вольный мир нарядной и легкой бабочкой — нет никому дела.

Крылья — это мистицизм, самоугрызение же — действительность. Те, которые создают ее, достойны пытки и казни. И на белом свете достаточно тюрем и добровольных палаток: большинство книг тоже тюрьмы, и великие писатели нередко были палачами».<sup>19)</sup>

Гегель, Маркс, Ленин наиболее интенсивно строили кокон человечества и были правы. Достоевский, Киркегор, Шестов, Бердяев, Терц — хотели бы прорвать этот кокон и вылететь на свободный простор. Они тоже правы. Истина состоит в том, что без хорошо сделанного кокона гусеница никогда не могла бы превратиться в мотылька, она навсегда осталась бы гусеницей. Верно и то, что мотылек погибнет, если не прогрызет и не покинет кокон, на постройку которого были истрачены громадные силы.

И гусеница, строящая «на вечные времена» свой теплый, конечный совершенный мир в коконе и мотылек, разрушающий этот теплый, изолированный, совершенный, удобный мир, чтобы без сожаления его отбросить и улететь в таинственный, неизвестный и полный опасностей бесконечный простор — оба правы.

Потому и именно потому, что изолированность мира в России (хотя и не столь удобного, как на богатом Западе) была в течение долгого времени большей, чем где бы то ни было — именно там сегодня появляются первые мотыльки, у которых еще часто нет сил прогрызть кокон, выбросить его на свалку и улететь в солнечный простор.

Терц один из первых, кто прогрыз кокон, разбил реторту. Правда — он еще не взлетел. Но об этом потом.

Мечтатели из «народных лабораторий» хотели бы навечно удерживать мотылька в коконе. Кокон у них становится не средством, а целью. Только здесь, только вокруг этого ведется кровавая борьба. Что такое наука и научное познание, что такое кокон — цель или средство? Если это средство, то сегодня они нужны, а завтра их можно отбросить и все в порядке. Если же цель — то мотылек погибнет, а кокон навечно останется целым и неповрежденным. Это борьба не на жизнь, а на смерть. Вечен ли кокон или вечен мотылек? Потому что только вылетевший мотылек может продолжить жизнь через потомство.

Что земная жизнь, цель или средство? Земная жизнь, говорит Терц, только средство для жизни вечной, только преходящая форма бессмертной жизни, но эта вечность осуществляется в земной жизни только если человек в этом мире живет, борется за счастье, то есть за свободу, за подлинную жизнь. Безразлично, идет ли дело о счастье какого-нибудь Ленина, занимающегося построением кокона или о счастье человека с «ретроградной физиономией» из «Записок из подполья» Достоевского, который разрушит этот кокон. Давно уже было сказано в одной старой и мудрой книге: — Будьте горячими или холодными, но никогда — теплыми.\*)

---

\*) Откровение св. Иоанна Богослова гл. 3, 15 «знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден, или горяч!».

Вечность утрачивают только несчастные, те кто не борется за счастье. Рабы. Их, конечно, больше всего. Это те, которые говорят: «нельзя строить кокон, нельзя обладать счастьем на этом свете, потому что смерть все равно уничтожит этот мир и уже во время этой жизни следует обратиться к вечной жизни, отбросить все земные блага и заниматься только «спасением души». И те, кто говорит: «в мире существует только кокон и кроме него ничего нет, нет иной жизни, нет вечной жизни, будем наслаждаться властью над этой реальностью и т. д.».

Первые — клерикалы. Вторые — социалисты. Какими бы на первый взгляд противоположными они ни казались — они находятся на одинаковых позициях. Уничтожение веры в бессмертие человеческой души — окончательная власть мира сего — уничтожает в человеке жажду жизни и в этом мире, потому что мир становится темницей, из которой нет выхода и которая делает человека несчастным. С другой стороны — отвержение этой жизни, отвержение счастья индивидуальной любви (потому что она преходяща), целибат, покаяние, аскеза, и т. д. — предотвращают создание кокона, земного счастья, и тем самым уничтожают возможность вечной жизни, потому что вечная жизнь осуществляется на этом свете.

И одни и другие уничтожают: жизнь вечную — те, кто отбрасывает жизнь земную; жизнь земную — не признающие жизни вечной. Тот, кто верит, что этот мир — могила, мир мертвых, что только смерть — воскресение (историческое христианство) и тот, кто верит в существование только мира сего и в то, что смерть — безвозвратный конец (марксисты) — и одни и другие только две стороны одной и той же медали. Потому что смерти в реальном, свободном, органическом, Божьем мире вообще нет. Все — жизнь. Смерть приносит одно лишь древо познания.

Конфликт советских следственных органов и Терца происходит не в плане борьбы между марксистско-со-

циалистической концепцией общественного устройства и западного демократического-либерального. Это конфликт между свободным духом и духом поработленным миром сим, без различия, при «капиталистической» или «социалистической» системе это происходит.

Это не вопрос замены одного общественного устройства, одной социально-политической доктрины другой, не вопрос построения этого мира более свободным и богатым — это вопрос существования, реальности этого мира и «того света» и вечной жизни или вечной смерти и на том и на этом свете.

И вопрос существования или несуществования бессмертной человеческой души. Человеческой души, образа и подобия Божьего — или высоко организованной материи. Что реальнее?  $2 \times 2 = 4$  или душа Абрама Терца? Смерть или жизнь?

## SOLA FIDE

«Ведь что же происходит? Живет человек и вдруг — Бац! — и нет его больше, а вместо него по тому же месту ходят другие люди и в свою очередь предаются бессмысленному уничтожению. Только и слышно кругом: бац! бац! бац!».

Абрам Терц. «Гололедица» стр. 129

И, может, все это вполне законно, — думал я, — и на известной ступени человеческого духа вполне гигиенично для самого же духа отойти от суеверий, поверий и предрассудков, — от всего того, что называется суевериями, которые ослабляют человеческую волю, связывают человека, и держат в постоянном страхе, — да, иногда надо развязать руки, чтобы все пропало, — и духи, и цверги, и оставить человека

на своей воле со своей головой, и тем возбуждать энергию, — толкнуть к самостоятельности арифметикой — четырьмя правилами до цепного правила арифметикой, которая приведет к математике — к высшей математике, а вихрь бесконечно-малых переплеснет туда — и тогда снова они покажутся: и дужи и цверги, — но ты не запуганный, не загнанный, нет, на голове петушиная корона, в правой руке треххвостка, в левой венок, а ноги как змеи — и не даром же среди самого математического в мире народа в Париже институт Рише, где фотографируют духов.<sup>20)</sup>

Алексей Ремизов

Сейчас мы смотрим как через затуманенное стекло.

Апостол Павел

Служение науке дает власть над жизнью. Поклонись разуму и будешь царствовать. Здесь наглядно раскрывается, что каждая власть предполагает рабство того, кто властвует, что каждый, у кого власть — раб и что свободный человек не может властвовать. Власть не может дать свободы. Цель — власть, и средство — поклонись, признай «законы» — оказываются равнозначущими. Средство всегда идентично цели. Средство это и есть цель, всегда и повсюду, как бы человек не очаровывался целью. У воспитания — а всякое воспитание насильственно, — именно эта цель: отнятие свободы с первых дней жизни. Диктатура одной партии, поставившей себе цель привести общество в «царство свободы» — раскрывается как самоцель. Во время насильственной коллективизации в России крестьянство уничтожалось не для создания так называемой «материальной базы», для богатого и продуктивного сельского хо-

зьяйства, а для того, чтобы дольше удержатъ диктатуру.

Познание даетъ свободу! Вспомнимъ то же дословно высказывание героя «Записокъ изъ подполья» Достоевскаго, Киркегора, главнаго героя «Гололедицы» Терца: «все знаю и ничего не могу».

Но могутъ возразить: «Позвольте, но техническiе достижения освобождаютъ отъ тяжкаго труда ради хлеба насущнаго и этимъ даютъ вамъ свободу». Но если онъ подлинный — любой трудъ, даже самый тяжелый, трудъ землекопа и пахаря — творчество и отъ него не следуетъ освобождаться. Наоборотъ, — «освобождение» отъ него и есть наибольшее рабство, какъ для любящей женщины самымъ страшнымъ наказанiемъ было бы лишение ея возможности рождать детей, возможности за нихъ беспокоиться.

Следовательно дело не въ томъ, чтобы «освободить» человека отъ мукъ и страданiй, а въ томъ, чтобы какимъ-то образомъ добиться, чтобы человекъ жилъ настоящей, подлинной жизнью. А весь научный прогрессъ, автоматизация и т. д. не могутъ подарить человеку подлинной жизни — потому что внутренней свободы, единственной, открывающей путь къ подлинной жизни, творчеству, любви, и никакой вообще свободы человеку и обществу дать невозможно. Невозможно изъ раба сделать свободнаго, если онъ не свободенъ внутренне. Поэтому наука и «научный социализмъ» пытаются освободить человека отъ мукъ неподлинной жизни, но не даютъ и не могутъ дать жизнь подлинную. Неподлинность, небытие, на обыкновенномъ языке — скука, не только не исчезаютъ, а бесконечно умножаются и, наконецъ, приводятъ къ самоуничтоженiю. Все знаю и ничего не могу. Всемъ обладаю, чо ничего не желаю. Какъ пишетъ Шестовъ:

«Въ истории мира былъ моментъ, когда кто-то отнялъ у людей свободу и подсунилъ имъ вместо свободы — знанiе. И еще ухитрился внушить имъ убежденiе, что только познание обеспечиваетъ имъ свободу».<sup>21)</sup>

И еще:

«Понять — это значитъ свести неизвѣстное къ известному,

но ведь все известное он видел, испытал, допросил и от известного он бежал без оглядки. Если у него может быть какая-нибудь надежда — то только в предположении, что неизвестное ничего общего с известным иметь не может, что даже известное не так у нас известно, как это принято думать». <sup>22)</sup>

Человека губит неподлинная, известная, неизменяемая жизнь, человек бежит от нее даже в смерть. Подлинная жизнь, сколь тяжелой она ни была бы — всегда счастье, за которое борются люди! Именно поэтому во время войн и больших природных бедствий вообще нет самоубийств. И наоборот, в Швеции, где человек во многом достиг идеала «научного общества», благосостояния — самоубийств больше, чем где бы то ни было в мире.

Но как освободиться из ужасной тюрьмы, из реторты конечного, известного и неменяющегося мира? Или, может быть, сама наука, само человеческое познание дойдет до того, что само отречется от роли учительницы и освободительницы и признает, что все-таки жизнь — чудо и что познать его невозможно, что каждое разъяснение реального — ослепление людей и что (по словам Шестова)

«Задача философии не успокаивать, а смущать людей». <sup>23)</sup>

Но где в истории властитель, который бы отрекся от власти добровольно? Где мудрец, добровольно отрекшийся бы от разума? Правда, премудрый Сократ сказал: «я знаю, что я ничего не знаю», но все-таки продолжал думать, что он мудрейший из людей и поучал своих учеников до последнего мгновения.

Остается одно — уничтожение тюрьмы, реторты. То, что совершенно неправильно названо «*sacrifitium intellectus*». Неправильно потому, что

«Разум точно нужен, очень нужен нам. В обыкновенных условиях нашего существования он помогает нам справляться с трудностями и даже с очень большими трудно-

стями, встречающимися на нашем жизненном пути. Но бывает так, что разум приносит человеку величайшие беды, что из благодетеля и освободителя он превращается в тюремщика и палача. Отречься от него вовсе и не значит пожертвовать чем-то. Тут может быть лишь один вопрос: как сбросить с себя эту ненавистную власть?»<sup>24)</sup>

Это говорит Лев Шестов. И еще:

«И это отнюдь не должно рассматриваться как: *sacrificium intellectus* (интеллектуальная жертва), это вообще не есть *sacrificium*, не есть жертва. Разве можно говорить о жертве, если кто-либо убивает своего тюремщика или палача?»<sup>25)</sup>

А освободить себя и общество от власти при помощи создания новой власти и новой общественной системы (как средства, разумеется, для достижения благородной цели) — невозможно, как невозможно освободиться от власти разума, заменив одну теорию о жизни другой. Но к счастью, — как говорит Шпенглер — «люди отбрасывают окончательно не ту или иную теорию, а веру в теорию вообще». Отбрасывают не веру в определенную общественную систему, чтобы поверить в другую общественную систему, — а отбрасывают веру в любую общественную систему.

Эммануил Мунье правильно считал, что конфликт между верующими и атеистами — это конфликт двух вер, — так как если суть каждой чистой религии тертулианово «*credo qui absurdum*», то есть вера в чудо, которое вне «законности» естественного мира, законности логики, — то суть духа науки — «*credo ut intelligam*». Вера, априорная вера в *ratio*. А вера — это кровная связь, соединение человеческой души с предметом веры. У религиозных людей (конечно, у подлинно религиозных, а не у клерикалов) — с Богом, жизнью вечной, свободой; у верующих в науку — в *ratio*, на библейском языке — с дьяволом. Для религиозного человека свобода, жизнь вечная, Бог — наивысшие реальности. Для верующего в *ratio* сознание, логика, познание — ника-

кое не «отражение реальности», а тоже наивысшая реальность, реальность сама по себе. Это та самая, более реальная, чем жизнь, реторта, потому что в ней заключены человеческие души, а жизнь — вне ее. Или как об этом противоречии двух вер говорит старый, наивный Бертран Рассел:

«Сила молитвы имела общепризнанные границы: было богохульством требовать слишком много. Но власть науки, по мнению некоторых людей, не знает границ. Нам говорили, что вера может двигать горами, но никто не верил в это. Сейчас нам говорят, что атомная бомба может опрокинуть горы, и все в это верят».

И мы все и живем и движемся в разных мирах, в зависимости от того, на что направлена наша вера.

Разбить реторту конечного, смертного, механического мира, значит — освободиться. Извне человека освободить невозможно. Потому любое, даже самое незначительное насилие только укрепляет стенки реторты. Это как раз причина того, что католическая церковь — самый заслуженный распространитель атеизма. В этом же плане лежит и безуспешность каких бы то ни было социальных «поправок» общества и «научных раев». Извне невозможно дать человеку свободу. Здесь наука ничего сделать не может. Как об этом пишет Бердяев:

«Науки о мире физическом не доходят до внутреннего ядра бытия, они ищут причины всего происходящего во внешней среде».<sup>26)</sup>

«Бытие, действующее из собственных недр, из глубины».<sup>27)</sup>

Только изнутри, из бесконечной жажды свободы, человеческая душа может разбить реторту. Здесь каждое большое насилие может быть чрезвычайно полезным, конечно, в отрицательном смысле, так как может вызвать эту непреборимую жажду души к жизни. И поэтому однообразный и удобный «научный рай» может быть страшнее откровенного, кровавого «процесса» тоталитарной гитлеровской Германии или сталинского

СССР, потому что он только усыпляет человеческую душу. Обыкновенная тюрьма гораздо опаснее обыкновенного концлагеря. И здесь мы приходим к загадочным словам Николая Бердяева:

«Подлинная свобода и есть та, которую Бог требует от меня, а не я требую от Бога». <sup>28)</sup>

«Не человек, а Бог не может обойтись без свободы человека... Человек должен исполнять волю Божию, но воля Божья в том, чтобы человек был свободен духом». <sup>29)</sup>

И к словам Шестова о том, что

«Свобода не состоит в возможности выбора между добром и злом. Свобода это сила и власть не допустить зло в мир».

И снова к Бердяеву:

«Не свобода есть результат необходимости, ... а необходимость есть результат свободы, есть последствие известной направленности свободы». <sup>30)</sup>

«Природный порядок не есть вечный и неизменный порядок, он — лишь момент символизирующий жизнь духа. И потому из глубины духа могут явиться силы, которые преобразят и освободят его от порабоощающей власти». <sup>31)</sup>

Только из глубины человеческого духа и только из нее могут появиться силы, которые преобразят этот мир не внешним путем, — наукой и техникой, — а наоборот, разбив реторту «законов природы», заслоняющую от человека наивысшую реальность, что мир — вечное чудо, в котором нет «законов», а есть творческая свобода, что душа бессмертна и что человек воистину «образ и подобие Божие» и что вера, только вера приносит подлинную свободу, а не познание, власть, которая всегда есть власть над объектом и не может быть познания и власти над субъектом и именно поэтому познание, власть должны превращать все в объект, порабоощать и умерщвлять.

И только бесконечное отвращение к смерти и рабству и неутолимая жажда свободы, которая и есть вечная жизнь, может привести человека к этому сверхпри-

родному чуду и милости — освобождению от веры в ratio, от веры в абсолютную и конечную реальность реторты. И когда Терц и Розанов говорят, что их «любит Бог», то это только означает, что они любят Бога, свободу. Больше, чем другие. Как об этом пишет Шестов:

«Вера и есть та свобода, которую Творец вдохнул в человека вместе с жизнью». <sup>32)</sup>

«Свобода же приходит к человеку не от знания, а от веры, которая уничтожает все наши страхи». <sup>33)</sup>

«Вера есть свобода». <sup>34)</sup>

«И только вера, одна вера дает человеку силы и смело-сть взглянуть в лицо безумию и смерти». <sup>35)</sup>

А Киркегор говорил:

«Все, что не от веры, — есть грех. В этом один из основных принципов христианства: понятие, противоположное греху есть не добродетель, а вера». <sup>36)</sup>

И прав Гегель, говоря, что чудо — «насилие над естественной связью явлений». Но к этому следует прибавить, что так называемая «естественная связь явлений» — наибольшее насилие над чудом: Богом, человеческой душой и самой жизнью.

Именно поэтому без чуда, без личного Бога, нет и человека, — остается только «продукт общественно-исторических условий», который необходимо насильно воспитывать, чтобы он принял «социальный рай». Личного Бога — потому, что каждое чудо, свободный порыв, каждая свобода вообще, каждая жизнь — личная, а не абстрактная. Личность — не «законы». Человек — «образ и подобие Божие» если он, и когда он личность, то есть свободен даже от законов природы, бессмертен.

Здесь как будто какое-то противоречие — Достоевский и Терц, Шестов и Бердяев борются за Бога, а не за человека, в то время как Маркс и Ленин и все так называемые «гуманисты» борются против Бога — «за человека». Однако, как говорит Бердяев:

«Существование Бога это существование моей независимости от мира, от общества, от государства». <sup>37)</sup>

Именно поэтому Петр Верховенский из «Бесов» Достоевского — предтеча и подлинный идеолог тоталитарного духа двадцатого века, правильно понимал, что прежде всего в людях необходимо уничтожить веру в живого и личного Бога, Бога, который активно участвует в человеческой жизни, который препирается с Иовом и наконец ему уступает и возвращает жену, детей и стада. Если уничтожить веру в личного Бога, дающего жизнь вечную и все блага жизни конечной, то после этого легко уверить людей, что необходимо собственными силами создать мир лучший, чем тот, который существует: научный, технический, тоталитарно-полицейский, конечный и смертный. Вместо данного мира — заданный. И успех Верховенского и разных ему подобных «гуманистов» типа Великого Инквизитора понятен, так как, как говорит Бердяев:

«Человек любит рабство и легко его переносит. Свобода не право человека, а обязанность человека перед Богом. Бог требует, чтобы человек был свободен, а не сам человек». <sup>38)</sup>

И в конце пути, который начался со «смерти Бога», вернее «убийства» (как Шестов говорит: «Спиноза человек, который убил Бога»), мы приходим к окончательному стаду, человеческому стаду, последнему объекту, как в «1984» Орвелла. Вот почему если нет Бога — нет человека. Представьте себе, что Бог существует — и все ужасы орвелловского мира, все ужасы лагеря Ивана Денисовича бледнеют как привидения на рассвете.

Духовная революция — откровение Бога. Но каждая революция прежде всего — потрясение. В особенности это будет потрясение, когда начнут лопаться реторты. Бердяев:

«Познание Божества предполагает прохождение через катастрофу сознания, через духовное озарение, изменяющее самую природу разума». <sup>39)</sup>

Разрушение реторты, отбрасывание кокона с привычным или менее привычным порядком, при котором все освещено, известно и изучено, — и перед нами бесконечный простор жизни, о котором мы, правда, ничего не знаем, в котором нет законности, потому что нет полиции и который нам сейчас кажется ужасным и непонятым, мрачным, а что важнее всего — ненадежным и бесконечным. Сегодня мы свободно можем повторить то, что Лев Шестов пророчески писал в начале этого столетия, еще в 1905 году:

«Теперь мы ищем слов и звуков, чтобы воспеть своего недавнего врага. Ночь, темная, глухая, непроглядная, населенная ужасами ночь — не кажется ли она иногда вам бесконечно прекрасной? И не манит ли она вас своей тихой, но таинственной и бездонной красотой больше, чем ограниченный и крикливый день? Кажется — еще немного, и человек почувствует, что та же непонятная, но заботливая сила, которая выбросила нас в этот мир и научила нас, как растения, тянуться к свету, постепенно приутоворяя нас к свободной жизни, переводит нас в новую сферу, где нас ждет новая жизнь с ее новыми богатствами. *Fata volentem ducunt, nolentem trahunt.*\*) И быть может недалеко то время, когда вдохновленный поэт, в последний раз окинув прощальным взором свое прошлое, смело и радостно воскликнет:

Да скроется солнце, да здравствует тьма!»<sup>40)</sup>

Мы отчаливаем, как это показывает появление Терца, Солженицына, Пастернака и никакие полиции мира, как «научны» они бы ни были, нас не остановят. Знаем ли, куда мы прибудем? Нет, — о мире и жизни, к которым мы стремимся, мы знаем лишь то, что они бесконечно свободны и что маршрут по ним нельзя вычислить заранее. И верим словам Льва Шестова:

«В обетованную землю приходит только тот, кто не знает, куда идет».

---

\*) Судьба ведет того, кто хочет, а не хотящего волочит.

## ТРЕТЬЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Бог Авраама, Бог Исаака,  
Бог Иакова, а не Бог философов!

Б. Паскаль

Но смерть не победит жизни, как бы ни старались кибернетики и генетики, вбивая в детские головы «истинные» познания науки.

Грядет новая, третья революция, обратная, диаметрально противоположная и Великой французской, и Парижской коммуне, и Октябрьской «социалистической», и национал-социалистической 1933 года. Революция духа во имя жизни. Революция, которая сокрушит не только «дух науки», но и церковно-историческое христианство, которое и довело человечество до «царства науки».

После огненной чистки атеизма человечество возвращается к Богу. Но не к Богу католической или какой бы то ни было другой Церкви, не к Богу смерти и беззвучного умерщвления всего живого, чем так прославилось историческое христианство, но к Богу, который сказал: «Я Бог живых, а не мертвых».

И сегодня к революции духа, к богооткровению ближе всего мир социалистический; человек, может быть, ближе к Богу, чем когда бы то ни было в истории. Конечно, — социализм, как крайний тоталитаризм сыграл здесь очень большую роль, — хотя и в отрицательном смысле.

Мир возвращается к религии, но не к моралистической и монастырской, не к религии институций, религии воскресных школ и Армии спасения. Но к религии космической, религии жизни и борьбы, каким было христианство первых столетий. К религии огненной.

Сегодня ее носителями будут те же духовные типы людей которые — но только по одному глубокому внутреннему убеждению, — шли в 1917 году за Лениным,

в то время как против нее будет тип людей, которые тогда были против Ленина, а сегодня в социалистическом мире курят фимиам перед ленинским мавзолеем.

У новой религии будет очень мало общего с современными Церквями и я предвижу день, когда все современные Церкви, включая сюда Марксову церковь, будут совместно бороться против нового источника вечной жизни, который забьет как раз из того камня, из которого никто не ожидает воды. И я глубоко верю в то, что Запад в будущем будет помогать советскому кибернетическому обществу заглушать новый источник.

Предстоят большие события. Недалек день, когда появятся люди, которые не побоятся открыто говорить о том, что каждый неподлинный труд — не достоин уважения, как сейчас, а есть рабство и позор, что Бог, личный Бог существует и иногда вмешивается даже в такие дела, как ремонт перегоревших предохранителей, что душа бессмертна, а наше «познание» — наука и ratio — смертны, что любовь несравнимо, несравнимо больше, чем познание о любви и, наконец, что человек никогда не жил в такой тотальной, дьявольской лжи, как в наше время.

Эти люди будут утверждать, что чудо, подлинное чудо существует и чудеса будут совершаться. Эти люди всем научным мудрецам и служителям культа ratio повторяют слова древней книги: «мудрость человеческая безумие перед Господом».

Абрам Терц прокладывает путь этим людям.

Конечно, можно задать вопрос — а зачем такие люди, как Шестов, Бердяев, Розанов, Достоевский, Терц вообще пишут, то есть умствуют и доводят до нашего сознания, до нашего познания, познание о том, что каждое познание — враг жизни, что каждое произнесенное слово само по себе — уже ложь. Одним словом, занимаются работой, которая отрицает именно то, что они утверждают.

На этот вопрос несколько людей уже ответили в прошлом.

Генрих фон Клейст писал: «Мы должны снова вкушать плод с дерева познания, чтобы опять придти к состоянию невинности».

Паскаль: «Последнее заключение разума сводится к тому, что существует что-то бесконечно высшее, чем разум».

Бердяев: «Разум может постигнуть существование сверхразума».

Однако противоречие остается — остается ratio, познание того, что жизнь надрациональна и что само это познание, как каждое познание не есть истина.

На это ответил Лев Шестов, человек, которого упрекали в том, что он непоследователен, так как восстает против любого познания, как духовной смерти и одновременно это утверждение вводит в наше познание. Лев Шестов писал:

«В сонном видении, — когда на человека надвигается чудовище, готовящееся уничтожить и испепелить и его самого, и весь мир, в то время как он сам чувствует себя парализованным, не способным не то, чтобы защититься, но даже хотя бы пошевелиться каким-нибудь членом, — спасение приходит вместе с противоречивым сознанием, что овладевший человеком кошмар не есть действительность, а лишь преходящая одержимость. Сознание противоречивое, ибо оно предполагает у спящего истину о том, что состояние сознания сновидца не есть истинное, — и стало быть истину, уничтожающую самое себя. Чтоб избавиться от кошмара, нужно отогнать от себя «закон» противоречия, которым держатся все очевидности в состоянии бдения: нужно сделать огромное усилие и проснуться».<sup>41)</sup>

И Терц и Шестов и Бердяев как раз и вводят в познание человечества, спящего в самоочевидной реальности земного, конечного, материального мира, это контрадикционное понятие, что каждое познание — сон. Это все еще познание с п я щ е е, но которое своим

существованием уничтожает страх перед кошмаром реальности и открывает возможности освобождения, пробуждения. Пробудившийся человек, конечно, не будет писать, читать и умствовать, не будет познавать жизнь и служить науке, а будет — жить. Но для пробуждения необходимо громадное напряжение, которое никогда и ни в коем случае не входит в сферу науки и познания. Это то напряжение, про которое сказал Тот, кто его совершил: «Радуйтесь, сегодня я победил мир», напряжение, после которого провозглашают: «Смерть, где твое жало, ад, где твоя победа»?

### ЕЩЕ О ЗНАЧЕНИИ ТЕРЦА

В свое время Шестов писал о Мартине Бубере:

«Нужна была его безудержная страсть... чтобы дерзнуть вновь воссоздать на нашем теперешнем языке искания и нахождения тех отдаленных времен, когда не люди творили истину, а истина открывалась людям». <sup>42)</sup>

Нечто похожее мы могли бы сказать о Терце, хотя Терц заслоняется, как перегородкой, иронией, даже тогда, когда высказывает свои наиболее глубокие откровения. Даже можно сказать, что чем Терц ироничнее, тем мысль его более серьезна:

«Не властен я над собой, безволен и равнодушен, как камень. И в светлые минуты жизни прошу об одном: — Господи! поддержи! не оставь! Господи! Я — камень в твоей руке... Напрягись, соберись с силами и кинь этот камень со всей силой в кого захочешь!..» (стр. 118).

Если Фейербах и Маркс за «идеей» Бога открывали «только» природное явление — гром и молнию (из которых, как известно, примитивные люди создали бога, потому-что не умели объяснять пугавших их явлений) — Терц за «явлением природы», даже за самой банальной электрической энергией и предохранителями — открывает существование сверхприродного:

«У меня перегорели пробки. Я очень грустил, считал себя погибшим и просил Бога помочь. И Бог прислал мне Монтера. И Монтер починил пробки». <sup>43)</sup>

Если Спиноза идентифицировал Бога с природой и обезличил Бога и абсолютизировал природу, Терц делает обратное. В рассказе «Ты и я» — Бог самая личная личность, а человек «образ и подобие Божие» буквально, а не метафорически, как личность и поскольку он личность, субъект, а не объект. Не предмет познания. А субъект не может быть смертным. Трагедия Николая Васильевича, главного героя рассказа «Ты и я» именно в том, что он не верит в существование Бога, и тогда, когда Бог активно вмешивается в его жизнь — страх и злобу вызывает именно заблуждение, мысль, что его преследуют органы госбезопасности.

От страшной реальности орвелловского «1984», от реальности «Процесса» Кафки, терцовского «Суд идет», спасает только одно — возможность сверхъестественных явлений, чуда. И поэтому Терц повторяет слова, бывшие лейтмотивом творчества Достоевского: «Если нет Бога — нет человека». Или как говорит Терц: «Довольно твердить о человеке. Пора подумать о Боге». <sup>44)</sup>

Только вера в сверхестественное, в Бога, личного Бога, дает человеку силы смотреть без страха в глаза смерти, зная, что смертью, переходом в другую реальность, ничего не кончается, а только начинается новая жизнь. И поэтому в своих превосходных афоризмах, собранных в сборнике «Мысли врасплох», Терц пишет:

«Смерть отделяет душу от тела подобно тому, как мясник отделяет мясо от кости. Это так же мучительно. Но так и только так наступает освобождение». <sup>45)</sup>

«Надо бы умирать так, чтобы крикнуть (шепнуть) перед смертью: — Ура! мы отплываем!». <sup>46)</sup>

И зная то, что вера, освобождающая его от кошмара конечной реальности — дана ему, — теми же сло-

вами, как когда-то Василий Розанов, говорит: «Господь Бог предпочитает меня». <sup>47)</sup>

Терцу дано было уйти из оков «нормального разума», из реторты гомункулуса, как говорил Гёте, и снова вернуться к понятиям тех наших далеких предков, которые, по словам Платона, «жили ближе к Богу», чем люди после них. Терц «возвращается к природе» в подлинном смысле этого слова, а не в смысле маскарада Руссо. И поистине возможно жить в мире величайших технических достижений и оставаться в подлинной жизни, потому-что этот реальный мир, в котором угнездилась наука и техника — ничто иное, как видимость и «реальность мгновения».

Как бы атеисты не доказывали что Бога нет и что существует только природа и законы природы — всегда будут говорить о чем-то другом — писал Достоевский. В этом Достоевский был «примитив», как и Терц. Он тоже жил «ближе к природе», к сути вещей, к Богу.

В своей книге о мифологии примитивных племен Леви-Брюль (Levy-Bruhl) пишет о сознании этих «примитивных» то же самое, что можно было бы написать о Терце, Достоевском, Шестове, Киркегоре, о людях, которые разрушали реторту ratio:

«В своей мистической ориентации они всегда готовы признать за видимыми предметами и фактами нашего мира существование сил невидимых. Вмешательство этих сил они ощущают каждый раз, когда их поражает что-то необычное и странное. В их глазах сверхприродное покрывает, проникает в природное и поддерживает его. Оттуда вязкость природы. Мифы ее не объясняют, а только отражают. Она, эта сверхприрода именно и дает содержание мифам, которые так смущают наш разум». <sup>48)</sup>

Эти «примитивные» видят всю жизнь, всю реальность, а не только ту малую часть мгновенной реальности, которую нам позволяет видеть ratio, научное познание.

Чтобы увидеть жизнь в целостности — необходимо

выйти из жизни, чтобы увидеть в целости время — нужно выйти из времени. Терц человек, который в каком-то смысле всегда «вне реальности мгновения», всегда «чужак», так, как это понимал Камю и не случайно Шестов и Бердяев, которые по духу ближе всего к Терцу, — были эмигрантами, то есть людьми, тоже вырванными из повседневной реальности, как и Достоевский был вырван из жизни каторгой. И — вырванные из времени, из «реальности мгновения» — открыли то, о чем Шестов и Бердяев говорили языком философии, а Достоевский и Терц — своим искусством: что этот мир не последний и окончательный, что существует чудо и личный Бог, и что у человека нет причин бояться смерти и ужаса реальности этого материального мира, потому что вера освобождает человеческую душу и открывает ей путь в вечную жизнь.

Разница между Терцем, Кафкой и Орвеллом велика. «Процесс» Кафки, «1984» Орвелла, «Суд идет» Терца — дети одного духа, но Кафке не удалось разбить стенку реторты, так же как и Орвелл до смерти остался в когтях безысходной реальности. «Суд идет» для Терца — только начало пути. Он разбил реторту и бежал в жизнь. Кафка не смог спастись от ужаса реальности в этой жизни, — даже в духе, как Терц.

«Новый реализм» Терца, конечно можно сравнить с творчеством Достоевского, с искусством Иеронимуса Босха, с Шестовым, Розановым, Бердяевым, а в особенности с картинами молодого и талантливого белградского художника Леонида Шейки, чьи картины могли бы иллюстрировать рассказы Терца. Терц человек новой эпохи, которая приближается, «нового средневековья». И, конечно, он может быть близок только тому, кого безысходная реальность «Процесса», «Суд идет», «1984» принудила — в безграничной жажде жизни — разбить реторту ratio, выйти из замкнутого мира «конечной реальности» — в безграничный простор вечной жизни.

Для того, для кого видимая реальность не сделалась еще безысходной темницей (а это должно произойти с каждым, хотя бы в предсмертный час), Терц будет чужим и им будет казаться, что он выбивает у них из под ног твердую почву, они будут кричать, что имеют дело с ненормальным человеком, с психической болезнью. Его будут запрещать и арестовывать, — впрочем это уже произошло.

Но напрасно — нас, смотрящих на мир глазами Терца, все больше и больше, в особенности в социалистических странах, потому что здесь больше людей, ощутивших на собственном опыте бесконечный ужас рабства миру сему. В особенности же в России, где «Процесс» был наиболее тяжелым, а жажда русского народа к жизни — наиболее сильной. Еще в 1905 году Лев Шестов пророчески писал:

«Я не знаю, что скорей заставляет человека итти вперед без оглядки — сознание, что за спиной осталась голова Медузы со страшными змеями и опасность обратиться в камень или уверенность, что за ним та прочность и неизменность, которая обеспечивается законом причинности и современной наукой. Судя по тому, что теперь происходит, судя по тому, до какой степени напряжения дошла в наше время человеческая мысль, нужно полагать, что голова Медузы не так страшна, как закон причинности. Чтобы убежать от последнего — человек готов на все: кажется, он даже охотней примет безумие — не поэтическое безумие, которое кончается пылкими речами, а настоящее, за которое сажают в желтый дом — чем вернется в лоно закономерного познания действительности».<sup>49)</sup>

Сегодня в русской литературе существуют два полюса, которые, как бы они не были отдалены один от другого, все-же во многом соприкасаются. Один полюс — Терц, человек, который разбил реторту. Второй полюс — Солженицын, человек, для которого реторта — наивысшая реальность; но именно потому, что он ее правдиво изображает, он готовит ее разрушение. Го-

товит путь Терцу. Отношение Солженицына и Терца полностью идентично отношению Льва Толстого и Достоевского.

О тех литераторах, которые утверждают, что реторты, «Процесса» не существует и что все на свете прекрасно — и тем самым укрепляют стенки реторты — не стоит даже и говорить. Люди, пытающиеся разбить реторту, на них не обращают внимания.

## СТИЛЬ И ТЕХНИКА

Терц описывает торжественный салют и фейерверк в Москве так:

«Земля подпрыгнула. В небо, откинутае назад, взмыли чугунные трубы, это прорвалась аорта где-то за универмагом. Нужен жгут. Но перевязать не успели: лопнули другие сосуды. И разноцветная кровь брызнула фонтаном в зенит» («Суд идет», стр. 188).

Мы видим, что Терц оригинальный и крупный стилист, зрелый мастер с собственной техникой выражения. Его картины пластичны и живы. До него так писал только Замятин и до некоторой степени Андрей Белый. Некоторые описания просто виртуозные миниатюры, которые можно было бы печатать и читать отдельно от текста рассказа. Посмотрим, как Терц описывает одну радиопередачу:

«Парижскую передачу сменило нытье арабов. А вот сцепились хвостами две передачи. Какая-то скандинавская кирха транслировала молитвы. Тут же, невпопад, украинское контральто, промытое борным раствором, рассказывало про успехи знатного токаря Наливайки, который выполнил к празднику годовой план.

Пальцы вибрировали. В них тоже бился эфир. Радиоволны — петля за петлей — обвивали шею. В ответ, из живота, из пустой впалой груди, гудело и вздрагивало

черное магнитное небо, кое-где прошитое трассирующим песком морзянки...

Станции наперебой голосили, каждая про свои интересы. Они обступили его, как торговки на рынке. Юрий крутился, теребя ручку приемника, едва успевая настраиваться то на одну, то на другую.

Его губы напевали псалмы, штиблеты под столом выступивали бразилийское самбо...

Наконец Юрий нащупал волну «Свободной Европы». Диктор конфиденциальным тоном (должно, сам побаивался) обещал что-то пикантное — в честь октябрьской годовщины, специально. Слово предоставили бывшему подполковнику авиации, поседевшему от многих обид на тяжелой советской службе. Но только потусторонний голос бывшего подполковника произнес — «Дорогие братья и сес...», — как послышалось гневное заградительное рокотанье. Это вступили в бой наши глушители.

От ружейного и пулеметного треска ныли барабанные перепонки. По «Свободной Европе», по американским джазам и французской рекламе шпарил ураганый огонь. На бескрайних электронных полях начиналось сражение.

Юрий перескочил мертвую зону и перевел дух. Выстрелы затихали вдали. А навстречу неслись бравурные марши и крики «ура». Первые демонстранты проходили перед трибуной.

Этого перенести Юрий уже не мог. Резко, обрывая трансляцию, он вертанул выключатель. Так сворачивают головку пойманной птице. Ему даже показалось, что хрустнули шейные позвонки» («Суд идет», стр. 179-180).

А вот так описан один концерт:

«Музыка потекла.

Она была с цветными разводами — как вода на улице, когда прольют керосин. Она шумела и рвалась со сцены — в зал. Сережа вспомнил, что снаружи тоже ливень и поехал от удовольствия. Именно такой представлялась ему революция.

Буржуи тонули самым естественным образом. Пожилая

дама в вечернем туалете, барахтаясь, ползла на колонну. Смыло. Ее муж-генерал плавал саженками, но тоже вскоре утонул. Уже самим музыкантам было по-шейку. Вытаращив глаза и сплевывая набегавшую волну, они судорожно пилили под водой, наугад.

Еще напор. Одиноко, верхом на стуле, промелькнул капельдинер. Волны бились о стены, лизали портреты великих композиторов. На поверхности плавали дамские сумочки и билеты. Время от времени из звонкозеленой глубины, неспеша, как белый, незрелый арбуз, всплывала чья-то лысина и пропадала.

— Это тебе не Прокофьев с Хачатуряном. Классика.

— Какая музыка! — воскликнул Владимир Петрович.

Его тоже весьма занимало происшедшее наводнение. Но видел и понимал он больше, чем Сережа: музыка не текла сама по себе — ею управлял дирижер.

Он возводил дамбы, прочерчивал каналы и акведуки, укладывал взбалмошную стихию в геометрически точные русла. Дирижер руководил: по взмаху его руки одни потоки останавливались и замерзали, другие устремлялись вперед и крутили турбины.

Владимир Петрович незаметно перешел в первый ряд. Никогда раньше не сидел он так близко от дирижера и никогда не думал, что эта работа требует стольких усилий. Еще бы! Уследить и за флейтой и за барабаном и заставить всех играть одно и то же!

Пот бежал с него ручьями, щеки тряслись. И спина хрипло вздрагивала при всякой паузе. Издали он казался легким танцором, который пляшет не ногами, а руками. Но здесь, вблизи, это был мясник, что рубит туши и колет лед, выхаркивая с каждым ударом отрывистое густое дыхание.

А музыка становилась все шумнее и шумнее. Уже не водопады и реки — они давно замерзли — ледяные глыбы пришли в движение, словно в ледниковый период. Один выступ с грохотом наезжал на другой. Перемешались миры и пространства. Новый мир из гранита и льда наступил» («Суд идет», стр. 146-147).

Какой степени пластичности достигает рассказ Терца! «Ледяные громады» классической музыки читатель видит и ощущает всеми чувствами.

Иногда Терц прерывает рассказ небольшими отступлениями, вроде этого, пародирующего знаменитую гоголевскую тройку из «Мертвых душ», символизирующую Россию:

«Эх, поезд, птица-поезд! кто тебя выдумал? знать у бойкого народа мог ты только родиться! И хоть выдумал тебя не тульский и не ярославский расторопный мужик, а изобрел, говорят, для пользы дела мудрец-англичанин Стефенсон, уж больно пришелся ты в пору по нашей русской равнине и несешься вскачь по кочкам, по пригоркам, по телеграфным столбам, и замедляешь и убыстряешь движение, пока не зарябит тебе в очи. А приглядеться — печь на колесах, деревенский самовар с прицепом. Сердитый на взгляд, но добрый, великодушный, кудрявый. Пыхтит себе, отдувается и прет, куда ни попросишь, только ухнет для остратки, да как свиснет в два пальца, заломив шапку на затылок» («Гололедица», стр. 104).

Но наиболее интересный технический прием Терца — удаление одного лица в диалоге. Мы слышим реплики только одного участника разговора, но, и это необычно, пластичнее видим именно этого немногого его участника.

Прочтем сцену разговора между прокурором Глобовым и старой революционеркой, матерью его первой жены и бабушки его сына Сережи, арестованного за «троцкизм»:

«— Нет, мамаша, — ответил Глобов, глядя на ее мокрые валенки. — Идут большие аресты. Не могу.

— Что Вы сказали? Боюсь? Не то слово. Разве я когда боялся? Меня все боялись... Я же — прокурор, поймите. Мне совесть не позволяет. Я людей, может быть, менее виновных, ежедневно...

— Чье это будущее? Мое? Обойдусь как-нибудь без будущего. Предатель — мне не сын.

— Оставьте. При чем здесь честное слово революционерки? Старомодно звучит, Екатерина Петровна. А мне достоверно известно...

— Э, нет, это вы напрасно. Сына терять не легко...

— Довольно попреков! Вы сами... А брата, брата забыли? Удрал за границу, так Вы, небось...

— Я и раньше догадывался. Но если бы я знал, до какой степени...

— Да ты рехнулась, старуха! Не выдавал я его. Слышишь? Не выдавал.

— Отойди. Не хватайся руками. Руки, руки убери!

— Рассказывал я тебе — кто донес. Девченка из его же компании. Мне учитель шепнул. Историк. Пришла к директору... Вроде для совета... Тот хотел замать но...

— Девочка, девочка, говорят тебе русским языком.

— Ну, знаешь, это слишком. Ни девочек, ни мальчиков я еще не душил. А вот врагов...

— Замолчи, старая ведьма, пока тебя не посадили! После таких слов я не желаю больше...

— Вот и прекрасно. Двадцать пять лет опекала. Хватит с меня твоего контроля.

— И не надо, не приходи» («Суд идет», стр. 194).

И хотя мы слышим только один голос, присутствуют оба лица и бабка-революционерка присутствует даже более реально, — потому что она оставлена на волю нашего воображения и не ограничена произнесенными словами.

К сожалению я не имел возможности ознакомиться с новой большой повестью Терца «Любимов». После выхода из тюрьмы книги уже не приходят так аккуратно.

Несомненно, что когда-то влияние Терца на технику русской прозы будет велико, как и влияние Андрея Белого, Евгения Замятина, Алексея Ремизова и других великих русских модернистов.

Ноябрь-декабрь 1965 г.

Задар

## ПРИМЕЧАНИЯ

1) Эта и последующие цитаты из произведений А. Терца взяты из книги: Абрам Терц, «Фантастические повести», изд. Institut Litteraire, Париж, 1961 г.

2) Алексей Ремизов, «По карнизам», Париж, 1927 г., стр. 67.

3) Освальд Шпенглер, «Пропасть Запада», т. 2, Београд, 1937 г., стр. 602.

4) Там же, стр. 317.

5) Лев Шестов, «Апофеоз беспочвенности», изд. «Шиповник», Санкт-Петербург, 1909 г., стр. 165.

6) С. Левицкий, «Основы органического мировоззрения», «Посев», Франкфурт-на-Майне, 1947 г., стр. 169.

7) Джордж Орвелл, «1984», изд. «Посев», 1957 г., стр. 175/177.

8) По С. Франку, «Из истории русской философской мысли конца XIX и начала XX века», изд. Interlanguage Literary Associates, 1965 г., стр. 127.

9) Лев Шестов, «Апофеоз беспочвенности», стр. 25.

10) Н. Бердяев, «Философия свободного духа», изд. «ИМКА-Пресс», Париж, 1927 г., т. 1, стр. 270/71.

11) Лев Шестов, «Апофеоз беспочвенности», стр. 75.

12) Лев Шестов, «Умозрение и откровение», изд. «ИМКА-Пресс», Париж, 1964 г., стр. 247.

13) Н. Бердяев, «Философия свободного духа», т. 1, стр. 134.

14) Там же, т. 2, стр. 77.

15) Там же, т. 1, стр. 216.

16) Там же, т. 1, стр. 269.

17) Там же, т. 2, стр. 167.

18) Н. Бердяев, «Экзистенциальная диалектика Божественного и человеческого», изд. «ИМКА-Пресс», Париж, 1952, стр. 24.

19) Лев Шестов, «Апофеоз беспочвенности», стр. 72.

20) Алексей Ремизов, «По карнизам», стр. 26/27.

- 21) Лев Шестов, «Умозрение и откровение», стр. 123.
- 22) Лев Шестов, «Апофеоз беспочвенности», стр. 23.
- 23) Там же, стр. 38.
- 24) Лев Шестов, «Умозрение и откровение», стр. 244.
- 25) Там же, стр. 123.
- 26) Н. Бердяев, «Философия свободного духа», т. 1, стр. 181.
- 27) Там же, т. 1, стр. 186.
- 28) Там же, т. 1, стр. 186.
- 29) Там же, т. 1, стр. 189.
- 30) Там же, т. 1, стр. 184.
- 31) Там же, т. 1, стр. 101.
- 32) Лев Шестов, «Умозрение и откровение», стр. 288.
- 33) Там же, стр. 295.
- 34) Там же, стр. 282.
- 35) Там же, стр. 259.
- 36) Там же, стр. 251.
- 37) Н. Бердяев, «Экзистенциальная диалектика Божественного и человеческого», стр. 167.
- 38) Там же, стр. 183.
- 39) Н. Бердяев, «Философия свободного духа», т. 1, стр. 116.
- 40) Лев Шестов, «Апофеоз беспочвенности», стр. 127.
- 41) Лев Шестов, «Умозрение и откровение», стр. 323/324.
- 42) Там же, стр. 113.
- 43) Абрам Терц, «Мысли врасплох», изд. И. Г. Раузен, Нью-Йорк, 1966 г., стр. 56.
- 44) Там же, стр. 87.
- 45) Там же, стр. 100.
- 46) Там же, стр. 72.
- 47) Там же, стр. 103.
- 48) Levy-Bruhl, «La mythologie primitive», Librairie Alcan, Paris, 1935, стр. 20.
- 49) Лев Шестов, «Апофеоз беспочвенности», стр. 86.

## ОГЛАВЛЕНИЕ

	Стр.
Несколько слов об авторе . . . . .	1
Вступление . . . . .	5
«Суд идет» . . . . .	8
Пролог . . . . .	13
Разрушение реальности . . . . .	16
«Гололедица» . . . . .	22
Общее значение . . . . .	38
Реторта . . . . .	41
О будущем «научном рае» . . . . .	48
Оправдание науки . . . . .	57
Sola fide . . . . .	62
Третья революция . . . . .	72
Еще о значении Терца . . . . .	75
Стиль и техника . . . . .	80
Примечания . . . . .	85